

Сентин К.

ЛУИЗА ДЕ ЛА ПОРТ
ФАВОРИТКА ЛЮДОВИКА XIII

ЖЕНСКИЕ ЛИКИ — СИМВОЛЫ ВЕКОВ

Женские лики – символы веков

К. Сентин

**Луиза де ла Порт
(Фаворитка Людовика XIII)**

«Алгоритм»

1846

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фр)

Сентин К.

Луиза де ла Порт (Фаворитка Людовика XIII) / К. Сентин —
«Алгоритм», 1846 — (Женские лики – символы веков)

ISBN 978-5-486-03646-0

К. Сентин (настоящее имя Жозеф Ксавье Бонифас; 1798–1865) – французский романист и драматург, друг известного французского писателя Жана Ансело и его соавтор по ряду пьес. Дебютировал сборником стихов «Счастье познания» и рассказом «Пиччиола», переведенным на многие языки и выдержавшим десятки изданий. Один из наиболее плодовитых французских водевилистов первой половины XIX в. Роман «Луиза де ла Порт», представленный на страницах этого издания, повествует о последней любви короля Франции Людовика XIII к очаровательной семнадцатилетней Луизе де ла Порт. Ослепленный страстью король разлучает девушку с возлюбленным и выдает замуж за графа де Марильяка, чтобы приблизить ее ко двору. Но, осуществив задуманное, Людовик попадает в собственную ловушку: набожная Луиза отказывает ему в интимной близости, ставя узы брака превыше всего. Уязвленный ее отказом, король готовит для непокорной изощренную месть.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-03646-0

© Сентин К., 1846
© Алгоритм, 1846

Содержание

Часть первая	6
Глава I. Посещение монастыря	6
Глава II. Луиза де ла Порт	12
Глава III. Празднества по случаю рождения сына у короля	16
Глава IV. Великий Геден	24
Глава V. Жанна ла Брабансон	30
Глава VI. Церковный образ	37
Глава VII. Шпионы	42
Глава VIII. Спектакль в Кардинальском дворце	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

К. Сентин
Луиза де ла Порт
(Фаворитка Людовика XIII)

© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

Часть первая

Глава I. Посещение монастыря

В первых числах декабря 1637 года в Сент-Антуанском предместье Парижа царили шум и суматоха. Несмотря на сильный дождь, купцы, ремесленники, торговцы, спрятавшись от дождя под навесами – их сооружали в то время в нижнем этаже почти каждого дома – или сидя в своих жилищах, живо и громко разговаривали между собой из двери в дверь, из окна в окно.

Обсуждали они великое событие дня: король, не закутанный в плащ, как прежде, и не в закрытых носилках, а в щегольской карете, сопровождаемой мушкетерами и придворными лакеями, проехал через Сент-Антуанское предместье, отправляясь в Благовещенский монастырь. В нем несколько месяцев назад поселилась его последняя фаворитка – добрая и кроткая мадемуазель де ла Файетт.

Всем известно – ла Файетт сделалась врагом кардинала Ришелье, поскольку не желала подчиниться его воле и отказалась ему содействовать, пытаясь освободить короля от сильного влияния могущественного его министра. Убедившись в своей неудаче, решила она искать в монастыре убежища от соблазнов света. Король согласился на эту разлуку, чтобы положить конец докучливым просьбам и советам кардинала. На подписанном Людовиком акте об удалении мадемуазель де ла Файетт заметны следы слез, – следовательно, ла Файетт не утратила еще своей власти над королем и из стен монастыря надеялась воздействовать на его ум и сердце.

Когда в Париже узнали о новом посещении королем Благовещенского монастыря, уже четвертом в течение месяца, тревога распространилась по всему городу, будто опять произошел набег испанцев или взятие Корбии.

Жители парижских предместий, люди простые, верили в могущество кардинала и вовсе не думали о серьезных последствиях визитов Людовика в монастырь, куда заточила себя его фаворитка, но догадывались о их причинах.

Естественно, множество различных догадок и предположений, бессмысленных и неправдоподобных, теснилось тогда в воображении. Например, королева Анна Австрийская сама приказала заключить ла Файетт в монастырь и принудила произнести обет безвыходного жития там. Или король, влюбленный более чем когда-либо, просил папу вмешаться и благодаря главе Римско-католической церкви фаворитке, освобожденной от монастырского заточения, разрешалось снова показываться в свете. То король женится на ней, расторгнув (и все при помощи папы) брачный союз с королевой, которая, прожив с ним столь долгое время в замужестве, до сих пор бездетна.

– А почему этого не может быть?! – вопрошал уличный оратор, снимая кожаный передник и бросая его в свою лавку в надежде свободой движений и величием позы придать больше значения своим словам. – Король Генрих Четвертый собирался ведь жениться на своей возлюбленной Габриели д'Эстре. Только герцог Сюлли помешал ему, и напрасно! Габриель д'Эстре, право, не хуже Марии Медичи.

– Габриель, по крайней мере, француженка! – возражал другой, гордо оглядывая всех вокруг и моя руки под водой, текущей с желоба крыши.

– Не нуждаемся мы в королевах, которых вывозят нам то из Испании, то из Италии! – восклицал пожилой купец, во времена Генриха IV большой приверженец Лиги.

– Да, это правда! – замечал молодой подмастерье. – Разве мало хорошеньких девушек у нас во Франции? – И с самодовольной улыбкой обращал взор на красавиц соседок – работниц, служанок, прачек, белошвеек: все они с любопытством высовывались из окон.

– Нашим королям выбирать бы себе невест из знатнейших фамилий Франции, – право, лучше! – советовал толстый торговец, переговариваясь через улицу из своей лавки с соседом сапожником.

Уже наступила ночь; дождь продолжал идти сильнее прежнего. Граждане все беседовали о королеве и папе, о мадемуазель ла Файетт и короле. Любопытные прождали не напрасно: выехавшая из Благовещенского монастыря карета промчалась наконец по каменной мостовой Сент-Антуанского предместья. Людовика XIII сопровождала, как и несколькими часами ранее, большая свита – мушкетеры и придворные лакеи. К несчастью, король проехал при проливном дожде в совершенной темноте – от сильного ветра погасли все факелы придворных лакеев. Так достиг он Сент-Антуанской заставы, возвращаясь в свой Луврский дворец.

Итак, из всех описанных толков ни один не близок к истине. А между тем последствия этого посещения оказались чрезвычайно важны для Франции и даже для Европы.

Людовик любил прежде мадемуазель д’Отфор, фрейлину и любимицу королевы; но, подозрительный и вместе с тем робкий и боязливый, устранился привязанности д’Отфор к своей повелительнице. Не решался довериться ей, бывшей в дружбе с королевой, с немалой грустью думая, что этот союз, который намеревался заключить для себя одного, в утешение своего сердца, всегда жаждущего любви, послужит только сближению его с королевой. А он не имел и не хотел иметь с этой женщиной других отношений, кроме тех, что предписывались этикетом двора (и в особенности кардиналом), поэтому долго, сначала без успеха, боролся с этой любовью и страстью, беспокоившими его в домашних и политических делах.

Легкомыслие и ветреность д’Отфор пришли ему на помощь. Исполненная тщеславия, она радовалась, что покорила сердце короля, и даже не скрывала, что любезность и ласковость его отнюдь ее не прельщали, а только льстили ее самолюбию. Людовик заметил даже, что она не так расположена к нему, как к маркизу де Жевру, которому оказывала особенное внимание, даря нежный взор и приветливую улыбку. Чтобы отомстить ей за это, он изгнал маркиза, а желая заставить страдать ее гордость и самолюбие, сделал вид, будто ищет себе другую фаворитку. Безжалостная д’Отфор расхотелась, узнав об изгнании маркиза (возможно, чтобы сократить время этого изгнания). Уверяют, что она показала совершенное равнодушие, увидев, что король обратил свое внимание на мадемуазель ла Файетт, одну из ее подруг.

Имея в виду только мщение, Людовик XIII нашел то, чего до сих пор безуспешно искал: добрую подругу, которая сострадала его душевным тревогам, разделяла их, делала все, что могла, чтобы усладить и успокоить сердце монарха. У нее, как бы из сожаления, возникло к нему чувство самой чистой и нежной любви. Но добродетельная ла Файетт, не довольствуясь тем, что трудилась для его счастья, имела также стремление, чтобы он достиг славы. Ей хотелось восстановить значение короля, одаренного от природы некоторой силой и твердостью характера; честолюбивая мать старалась подавить это в нем, считая сына слишком робким и слабодушным, а Ришелье, умный, искусный политик, подчинил его своей воле, сделав вторым после себя лицом в государстве. Фаворитка, решив действовать в пользу короля, осмелилась бороться против этого министра, и ее уход в монастырь показал всем, на чьей стороне победа.

Опечаленный раньше этой разлукой, которую приписывал одному только призванию к строгой монашеской жизни, Людовик с досадой в сердце удалился в свой замок Сен-Жермен и объявил, что никого не будет принимать. Ришелье приказал строго исполнять эту волю короля и дал пройти его гневу. Через несколько дней при дворе стали беспокоиться о таком продолжительном отсутствии и узнали, что в уединении своем король раскрашивал образа и ловил птиц сетями.

При первом своем выезде из Сен-Жермена он отправился с небольшой свитой в Благовещенский монастырь. Елена-Анжелика Люилье, настоятельница, встретила его с монахинями в главных воротах монастыря. Король сначала не объяснил причины своего посещения, в которой никто не сомневался. С особенным, казалось, вниманием и любопытством обошел

он монастырь, осмотрел его здания и ограду, построенные на месте прежнего дома маршала Коссе. Потом, осмотрев сад и старые строения, вспомнил, что видел их еще ребенком, когда отец приезжал сюда со всей своей фамилией нанести визит маршалу Коссе, его прежнему врагу.

Воспоминания о днях минувшей молодости пробудились в нем, и он погрузился на некоторое время в раздумье, стоял неподвижно, почти не думая о том, что побудило его приехать в монастырь. Но вскоре мысль о страстной любви вернулась, и он закончил обозрение и стал искать повсюду ла Файетт, но нигде не видел ее и не решался спросить. А молодая отшельница, не полагаясь на свои силы, избегала встречи с королем. Сказав, что хочет помолиться в часовне, он вошел туда; о, как она мала и бедна; быть может, отсюда вознесутся к небу теплые молитвы о его благополучии... И он тотчас назначил большую сумму на увеличение и украшение святого места. Наконец, заметив, что монахини удивлены его действиями, решился осведомиться о затворнице.

По приказанию настоятельницы ла Файетт сошла в приемную, где король уже ждал ее. Монахиня, присутствовавшая обыкновенно тут во время посещения какой-нибудь из монастырок, из вежливости удалилась, и вопреки заведенному порядку их оставили одних.

В это время мадемуазель ла Файетт готовилась произнести обет Богу, ибо вступала в звание монастырских послушниц. Смущенная и трепещущая, явилась она перед Людовиком, и оба не решались некоторое время подойти друг к другу: она, с поникшей головой, думала о важности той жертвы, которую приносила Богу; он поражен был впечатлением, произведенным на него мрачностью и уединением монастыря, а также смирением прежней своей фаворитки и неизысканностью ее одежды.

Людовик оставил ла Файетт в полном блеске ее прелестей, среди прекрасного убранства; вспомнил момент разлуки с ней в одном из великолепных помещений Лувра, где она, красавица, как бы отражала всю окружающую ее роскошь. Легкий румянец на щеках, очаровательная небрежность черных шелковистых волос, локонами ниспадавших на беломраморные плечи, глаза, подернутые слезами, которые напрасно старалась удержать, – все это живыми красками рисовалось в его памяти... И вот теперь он опять с ней, но уже не в богатейшей обстановке Лувра, а в скромном и уютном зале, едва освещаемом дневным светом, где на голых стенах одна только картина – благочестивого содержания. Лицо красавицы похудело, опало, оно так бледно... Какая неожиданность, какая разительная перемена для Людовика!

Прошло несколько секунд, девушка подняла на него глаза, полные, как и в день разлуки, слез, – и встретила печальный, величественный взор короля, выражавший одно только – сострадание. Молча протянули друг другу руки и оставались в таком положении несколько секунд, не зная, что сказать, – тем и кончилось свидание. Так и расстались: она – унося в своем впечатлительном сердце высокое чувство самоотвержения; он, как человек холодный и бездушный, – разочарование.

Следующее посещение королем монастыря состоялось уже после того, как ла Файетт для успокоения совести принесла Богу новый обет строгой монашеской жизни. На этот раз она встретила короля в приемной уже не одна, а в сопровождении молоденькой пансионерки монастыря, которой покровительствовала и была с ней очень дружна, – не хотела более видаться без свидетелей с тем, кого прежде искренне любила. Король несколько, казалось, не оскорбился этим, освобождаясь от затруднительной встречи наедине, как во время последнего свидания с де ла Файетт.

Смущенная, оказавшись третьей в обществе столь высокого и знатного лица, молодая пансионерка в продолжение всего свидания стояла молча, неподвижно, опустив в землю глаза и скрестив руки на груди. Она была как статуя, только на приветливые слова короля, старавшегося ее успокоить, отвечала иногда почтительным поклоном.

При повторном свидании с королем (оно произошло не скоро) она казалась уже не столь застенчивой. Людовик, теперь менее стесняясь перед этим ребенком, обратился к ней с некоторыми вопросами, и она умно, без прежней стыдливости отвечала ему, сопровождая свои речи приятной и простодушной улыбкой, что придает столько прелести девушке в юном возрасте.

Во время визита Людовику неловко стало видеть, что пансионерка продолжает стоять перед ним, и он с вежливостью и любезностью, свойственными ему обычно в обращении с женщинами, попросил ее сесть. Мало знакомая с великосветскими правилами, она сочла, что в знак уважения к королю не следует исполнять эту просьбу монарха; тогда король, встав с кресла и приняв деланно суровый вид, обратился к ней, причем строгость голоса явно ему изменяла:

– Разве вам неизвестно, сударыня, что король Франции даже в просьбах своих повелевает и при его учтивости и вежливости надо на них смотреть как на приказания? Вы не послушались меня с первого раза – именем своей королевской власти я вторично приказываю вам: садитесь!

Сначала испугавшись такого тона, но тотчас успокоившись при добродушном взгляде короля, робкая, смущенная, она медленно опустилась на стул возле ла Файетт и, слегка улынувшись и покраснев, склонила русую головку на грудь подруги, а на короля бросила украдкой сердитый взор.

В этот момент сын Генриха IV в первый раз посмотрел внимательно на молоденькую монастырку, и красота ее, при том, что ей семнадцать; кроткое, добродушное выражение лица, без малейшего отпечатка страстей; тонкость и грациозность талии; ясность и чистота зора – все это произвело на него впечатление. Так легко сравнить двух женщин, находящихся перед ним: одна – монахиня, смуглая, в строгом одеянии, с печальным, изнуренным взором, не лишенным, однако, прежней прелести; другая – семнадцатилетняя пансионерка, огненные, выразительные глаза, роскошное платье, вся наружность прелестна, телодвижения грациозны и обворожительны... Бедняжка ла Файетт была своей подруге как тень при картине – такое мнение сложилось у короля.

После минутного молчания – каждое из трех действующих лиц этой сцены оставалось неподвижно на своем месте – король, продолжая со вниманием изучать двух девушек, отделенных от него решеткой, сквозь которую говорят обыкновенно в монастырях с монахинями, решился снова вступить с ними в разговор. Обратился к пансионерке, полулежавшей еще на груди подруги, причем та нежно, почти матерински ей улыбалась:

– Как ваше имя?

– Луиза. – Она приподняла вдруг голову и слегка встряхнула ею, расправляя локоны.

– «Луиза»! – повторил король и спросил ла Файетт: – Вас ведь тоже зовут Луизой?

– Я называлась Луизой, когда была миряночкой, – отвечала со вздохом новая сестра общины Благовещенского монастыря.

Лицо короля стало вдруг печальным, он продолжал:

– Я называюсь также Людовиком! Мы все трое находимся под покровительством и защитой одного святого, моего достославного предка. Да предохранит он это дитя от бурь и напастей жизни! А фамилия ваша?

Луиза то краснела, то бледнела, в чертах лица ее, за несколько минут до того спокойных и невозмутимых, появился испуг – горестное воспоминание, казалось, взволновало ее. Дрожа всем телом и прикинув к подруге, она устремила на нее боязливый взор, как бы умоляя о защите.

– Вы, право, неблагоприятны, – сказала ла Файетт, – успокойтесь, мой друг. Его величество вовсе не думает наказывать вас за проступки вашего семейства. Государь, – продолжала она, возвысив голос и с выражением благородной твердости духа во взгляде, – Луиза – дочь Вильгельма Машо де ла Порта, монпельерского президента, друга вашего покойного отца

Беарнца¹. Он, как и ваш отец, родился кальвинистом, разделял с ним опасности, удачи и неудачи в делах и, подражая ему в перемене веры, немало претерпел от этого, так как отчасти лишился того благорасположения...

– Да-да, – прервал король, приняв вдруг величественный вид, – и, как я теперь припоминаю, этот друг моего отца не был, однако, моим другом. Перестав проповедовать восстание, он оставил гражданскую службу, вооружился шпагой и приобрел известность между еретиками. Тогда только и говорили о пяти членах семейства Машо де ла Порты, как прежде – о принце Арденнском Эмоне и его четырех сыновьях. Но они-то были честные, благородные рыцари, а те – бунтовщики!

Людовик XIII не умел владеть собой; уже то, что он произнес слово «еретик», возбудило в нем гнев, и тон его увеличил замешательство девушки. Привыкнув быть под властью более сильной, чем его собственная, он находил особое удовольствие в том, чтобы внушать страх тем, кто слабее, – своего рода возмездие тем, кто ущемлял его самолюбие. Так что, приняв перед Луизой властный вид в шутку, дабы забавляться ее смущением, он на самом деле стал суровым, придав голосу и глазам выражение более строгое, чем было у него в мыслях. Внутренне он радовался, видя, что лицо девушки выражает испуг, а из-под длинных, красивых ресниц показываются слезы.

Но ла Файетт, изучившая все тайные изгибы сердца Людовика, знала, как надо обходиться с ним в подобных случаях: равнодушно и спокойно старалась, как только могла, оправдывать Вильгельма де ла Порты, гугенота, напоминая об услугах, оказанных им наследственной монархии, но умалчивая о его успехах как реформатора.

– Разве он не умер? – спросил бесцеремонно король.

– Умер... в тот же день, когда и его четыре сына! – отвечала Луиза, и слезы покатались из ее глаз.

Король бросил на нее украдкой беглый взгляд, и ему стало совестно, что своим грубым обращением он привел в смятение робкую, боязливую девушку.

– Да, умер... и при ужасных обстоятельствах! – повторила ла Файетт, обиженная суровостью короля и решив отплатить ему за это. – Дочь его, которую вы видите перед собой смущенной и встревоженной, рассказала мне о несчастьях своего детства, и я со слезами выслушала ее; несчастья эти, предмет постоянного сожаления для нее, должны быть таковыми и для вас, государь!

– Для меня? – удивился король.

– Вильгельм де ла Порт, к несчастью слишком преданный своим ложным убеждениям и увлеченный Роганами, примкнул, тому уже двенадцать лет, к партии лангедокских реформаторов. Со своими четырьмя сыновьями он присоединился к гарнизону замка Боннак... и этот гарнизон весь был присужден к виселице вследствие нечеловеколюбия и низости вашего маршала Темина. Один из этих несчастных, конечно наименее известный, помилован, но со страшным, ужасным условием – быть палачом своих собратьев. Чтобы спасти свою жизнь, он принужден был повесить и своего родного отца!.. Да, государь, родного отца!.. Но не он стал причиной такого ужасного преступления... не на него падает эта вина!

– Мне говорили об этом, – промолвил король.

– Но не вы приказали совершить этот ужасный поступок! – возразила монахиня – лицо ее внезапно воодушевилось, она встала и, как бы в знак своего покровительства, положила руки на голову Луизы. – Горе королю Франции, если вы, государь, приказали совершить его, ибо Бог спросит в том отчет.

– Темин имел полную власть...

– Государь, он во зло употребил ее. Вам следовало его наказать!

¹ Генриха IV.

– Война сопряжена с неизбежными жестокостями, – проговорил вполголоса Людовик XIII – он уже изменил свою роль, не чувствуя себя в силах бороться с влиянием фаворитки. – Притом маршала нет в живых; Богу судить его.

Ла-Файетт подняла глаза к небу, бросив перед тем на монарха взгляд, выражавший сожаление, но вскоре пришла в обычное, спокойное состояние. Луиза не совсем еще пришла в себя, и король, снова подбрав, постарался успокоить ее ласковыми словами:

– Итак, у вас остается еще фамилия, дитя мое? Каким же случаем провидению угодно было склонить вас к исповеданию римско-католической веры?

– Я всегда принадлежала к этой вере, государь, – отвечала юная пансионерка. – Моя мать была католичка... Вступив с ней в брак, отец мой... Царство ему небесное!.. Вечная ему память!..

После этого дочернего восклицания Луиза вдруг остановилась, боясь оскорбить короля, но Людовик сделал ей одобрительный знак, и она продолжала:

– Отец мой любил мою мать, и надо думать, что любовью очень сильной, ведь они разной веры и звания... Но они так любили друг друга! Мать моя так добра, так прекрасна!.. И в отце моем столько прекрасных качеств!.. Извините, ваше величество... – И Луиза, смутившись, снова прервала свою речь.

– Продолжайте, дитя мое! – поддержал ее король. – Похвалу отцу всегда приятно слышать из уст его детей. Тот не христианин, кого подобная похвала оскорбляет. Конечно, отец ваш не был ни в чем виновен перед вами, а если и был, то передо мной... Но с этого дня я все забываю... забываю все его проступки. Я сделаю более: вознагражу вас за все те горести, которые вы претерпели в детстве, в память услуг, оказанных вашим отцом родителю моему Генриху Четвертому. Я сделаю это, чтобы загладить печаль и неудобство, которые невольно причинил вам.

При этих словах король старался отыскать в глазах ла Файетт выражение, одобряющее его речь. А Луиза, вне себя от радости, забыв внезапно минутную печаль, следы которой еще оставались на лице ее, бросилась на шею подруге, благодарная за перемену, происшедшую в ее судьбе и в уме короля. Ободренная будущим своим счастьем, понуждаемая вопросами короля, рассказала тотчас, с откровенностью и истинным простосердечием, историю своего семейства, равно как и обо всем, что произошло с ней до вступления в Благовещенский монастырь.

Людовик внимательно ее слушал, улыбался некоторым наивным фразам ее рассказа, а когда она кончила говорить, снова уверил девушку в своем благорасположении; простился с обеими и обещал ла Файетт приехать в скором времени опять в монастырь, чтобы увидеться с ней. Но, давая это обещание, король, по рассеянности ли своей или по врожденной робости, смотрел с участием уже не на монахиню, а на подругу ее Луизу.

Глава II. Луиза де ла Порт

Мать Луизы, происходившая из мещанского сословия Парижа, умерла вскоре после дела Бонакского замка.

Рожденная от брака неравных по званию, а такой брак случался весьма редко в то время, Луиза еще ребенком лишилась всех родственников по отцу, происходивших из благородного звания. Из этих родственников осталась в живых одна только тетка, сестра отца, вдова барона де Сен-Сернена. Эта родственница, с давнего времени отказавшаяся от исповедания протестантской веры, жила в Турене доходами со своего маленького имения, получая притом незначительный пенсион, который выдавался ей из казны вследствие перемены ею веры и как бы в награду.

Она взяла к себе Луизу. Здесь-то и проявилась главная черта ее жизни: баронесса де Сен-Сернен, любившая, несмотря на свои ограниченные средства, жить в роскоши и удовольствиях, женщина хитрая и ловкая, показывая преувеличенную набожность, умела привлечь к себе в дом людей более богатых. Ослепляя их светским обращением и притворной строгостью своих правил, занимала у некоторых деньги, у других выманивала, как бы в награду за обещанные услуги.

Слишком счастливая невинностью и невозмутимостью сердца, Луиза была еще в том возрасте, когда жизнь представляется в розовом свете и мы не задумываемся о будущем, ни о чем глубоко не размышляем и судим о предметах поверхностно. Обманутая, как и другие, Луиза имела о своей тетке самое высокое мнение.

Детство свое, от семи до четырнадцати лет, Луиза провела в благородном кругу стариков, полуразоренных междоусобными войнами; они злились на королевский двор, с восторгом вспоминая об удовольствиях, которые вкушали в молодости, служа при дворе Генриха IV или Генриха III. В обществе тетки Луиза слышала только однообразные разговоры об охоте, картах, о правах дворянства, преданности королю и заговорах против его министра. А однажды услышала, что тетке ее, баронессе, предстоит поездка в Париж, чтобы быть представленной ко двору.

Слух об этом великом событии не замедлил разнестись по округе, среди простого народа, вследствие чего многие граждане прибегли к покровительству госпожи де Сен-Сернен. Луиза увлеклась, подобно им: надежда увидеть Париж, этот большой, богатый город, и королевский двор, о котором так много все толковали, воспламенила ее юное воображение. Девушка и не предполагала, что счастье может родиться для нее в Турене. Все эти графы и маркизы, в чьем кругу она беспрестанно находилась, нередко вспоминая, как уже говорилось, о днях минувшей молодости, всегда рассказывали о Париже и о королевском дворе. Луиза очень радовалась, что ей когда-нибудь представится случай быть в Париже и стать живой свидетельницей того, о чем с таким восхищением рассуждали в обществе тетки. Ей шел четырнадцатый год, и у нее не было причин скучать и печалиться, кроме одной: предполагаемая теткой поездка в Париж с каждым днем все откладывалась.

Вдруг присланное из Парижа письмо на имя тетки привело в исполнение ее затаенные желания. Письмо это было от Франциска ле Мутье, ее дяди со стороны матери, парижского мещанина; занимаясь скорняжным мастерством, он приобрел некоторую известность в Париже. Вспомнив, что в Турене живет его племянница, единственное дитя, родившееся от брака его сестры с президентом ла Портом, предлагал баронессе поместить молодую девушку за свой счет в монастырь в Париже. Вдова де Сен-Сернен сопровождала племянницу, к великому удовольствию своих заимодавцев и других кредиторов, обрадованных тем, что наконец совершился отъезд, о котором так много говорили.

Франциск ле Мутье принял баронессу и племянницу с почтением, подобавшим их благородному званию. На следующий день ле Мутье скорее следовал за ними, чем сопровождал, на гулянья и в публичные места. Через несколько дней Луизу отвезли в Благовещенский монастырь, где, несмотря на строгость монастырских правил, несколько смягченную, правда, для пансионеров, девушка чувствовала себя счастливой тем, что здесь она в обществе своих сверстниц.

Что касается баронессы де Сен-Сернен, освободившейся от племянницы, она тратила все свое время на то, что бегала по передним вельмож и хлопотала об увеличении своей маленькой пенсии. Написала прошения многим знатнейшим лицам двора для того только, чтобы получить в ответ несколько писем от секретарей короля, королевы или принцев и по возвращении показывать их в подтверждение своих отношений со знатными лицами. Наконец выехала из Парижа, поблагодарив ле Мутье за гостеприимство и купив у него, разумеется в долг, несколько изделий из дорогих мехов, желая удивить и возбудить зависть всех щеголих Туреня и Туренской провинции.

Такова вкратце история первых годов мадемуазель Машо де ла Порт. Понятно, что в своем рассказе королю Луиза представила свою тетку вовсе не в том виде, в каком следовало, поскольку не знала о ее интригах и всегда говорила о ней с почтением и уважением.

Слушая ее, король прельстился простосердечием и откровенностью рассказчицы. С этого дня он стал ездить в монастырь уже чаще; привык видаться с девушкой и не замедлил сделать ее почти поверенной тех душевных разговоров, которые вел с мадемуазель ла Файетт. А он решился говорить с ней и о своих домашних делах, и о делах государства. Благодаря, быть может, молоденькой пансионерке бедняжка ла Файетт высказывала, как и прежде, свои мнения, давала советы, и король соглашался с ними. Таким образом, в присутствии уже двух юных подруг он дошел до того, что не стеснялся вполне излить свои сердечные чувства, жаловаться и сетовать на свое положение, и это стало для него одним из сладких моментов жизни. Жаловался на свою мать, Марию Медичи, которую пришлось ему сослать в Брюссель; на брата Гастона Орлеанского, – удалился в Блуа и окружил себя шпионами кардинала Ришелье; на свою жену Анну Австрийскую, с которой виделся не иначе как с позволения кардинала; даже на самого кардинала, на Баррадаса и Сен-Симона, его прежних любимцев; ему хотелось посетовать и на мадемуазель д'Отфор, но он, конечно, не решился.

Ла Файетт молчала; Луиза робко и с легкой улыбкой слушала короля, не понимая, как это великий монарх, чье имя заставляет трепетать многие другие государства, столь мал и ничтожен в своем королевстве. А когда удостоверилась, что это не притворство, значение власти короля, которого видела перед собой, представилось ей гораздо меньшим. С этого времени сердце ее перестало ощущать невольный страх, внушаемый высоким званием монарха.

Король теперь узнал ее ближе и открыл в ней доброе, сострадательное сердце, от природы откровенное. Почувствовал себя при ней смелее; смеялся над некоторыми обстоятельствами из ее жизни, о которых она рассказывала, и, чувствуя себя в хорошем расположении духа, обратил свои насмешки даже и на ла Файетт – упрекал ее за молчание, за серьезный, пасмурный вид.

Молодая монахиня в самом деле не принимала участия в их разговоре. Умея узнавать секретные чувства короля, угадывала возникающее расположение его к Луизе, стараясь не показать ни малейшего вида.

Итак, однажды в первых числах декабря (с этого мы начали) Людовик XIII, несмотря на дурную погоду, отправился на охоту в окрестности своего маленького Версальского замка; присланный от кардинала-герцога курьер с важной депешей помешал ему. Король принял его сначала очень нелюбезно; потом, после минутного размышления, приказал подавать карету и, сопровождаемый отрядом мушкетеров, отправился в Париж, сказав кучеру:

– В монастырь!

Никогда король не приезжал в монастырь с такой большой свитой, как теперь; немудрено, что проезд его вдоль бульваров и через Сент-Антуанское предместье удивил всех, о чем уже говорилось. В приемную монастыря он вошел, не удостоив на этот раз вниманием Луизу, и сухо обратился к ла Файетт:

– Ну что, был ли я прав в своих подозрениях? Брат мой Гастон снова начинает действовать против меня исподтишка – что-то затевает.

– Может быть, против кардинала, государь...

– Обратиться к человеку, находящемуся под моей властью, – не значит ли это идти против меня самого?! Уж не для того ли, чтобы наказать кардинала, он требует, несмотря на наше последнее примирение, возврата крепостей, удержанных в залог, продолжает отношения с графом Суассоном, как и с английской королевой и герцогиней Савойской, моими сестрами, секретно ему содействующими?.. Нет. Гастон моложе и крепче меня здоровьем, он – надежда мятежников и крамольников! Я бездетен, он наследует мой престол, и если б не кардинал, которого они не без причины ненавидят, был бы уже, возможно, королем Франции, а я – в могиле... или в монастыре!

– Ах, ваше величество! Вы любимы народом... Ваш брат никогда не решится...

– «Не решится»? Гастон?! Чтобы удержать его, не я ли приказал отрубить головы многим... и притом перед его глазами? Шале, Капистрана, Монморанси!

– Ваш отец был бы, может быть, милостивее!

– Да, и мой отец умерщвлен... убит! И кем, по чьему приказанию?! – воскликнул с каким-то непонятным выражением Людовик.

Ла Файетт не говорила ни слова – знала: мстительный сын Генриха IV считал себя вправе сделать этот ужасный упрек своей матери. Луиза со страхом смотрела на короля – впервые видела его столь раздраженным.

А король продолжал:

– Едва я вступил на престол, как увидел, что мятеж распространился по всему моему государству – народ вооружился против меня. Я искал опору при дворе – и находил одних изменников, предателей! Думал найти убежище в своем семействе, а от него-то и происходило все зло, вся измена!

– Вам так говорили, – отвечала спокойно ла Файетт. – Может быть, тот, кто так старался уверить вас в этом, имел намерение принудить вас к тому, чтобы вы прибегли к его защите.

– Вы враг его! – возразил король с гневом и нетерпением.

– Да, государь, враг, ибо он и ваш враг – вашего благополучия. Отдаю должное его высоким качествам... и признаю их, как и те великие услуги, которые он оказал государству и религии. Но порицаю его за то, что он насилием достиг этих благородных результатов.

– Упреки делать легко... Но может ли падение министра помешать честолюбивым замыслам моего брата? Гастон жаждет быть на престоле!

– Нет, ваше величество. Герцог Гастон долго видел печаль, которой вы одержимы. Старайтесь опять подняться на ту высоту – того значения, – с которой вас свели. Оставьте при себе вашего министра, если он нужен для вашей собственной славы, но наблюдайте, присматривайте за ним! – воскликнула монахиня. – Вызовите вашу мать из ссылки, и пусть ваше семейство соберется около вас; тогда и двор ваш не замедлит присоединиться к нему. Ваши семейные ссоры и несогласия придают более смелости знатным вельможам, которые дышат возмущением, – ведь в такой ситуации они надеются найти себе покровительство и помощь в самом вашем семействе. Уничтожьте зло в самом его начале, и тишина водворится в государстве!

– Говорю вам, мой брат хочет царствовать, – повторил Людовик, погруженный как все в те же мысли.

– Так что ж, – возразила прежняя фаворитка, бросив на короля смелый взгляд, – есть средство поставить непреодолимое препятствие его честолюбию, – средство это поможет пресечь его преступные замыслы.

– Какое же?

– Равнодушие ваше к королеве всегда ее печалило. Вы любили ее, ваше величество, и вы снова полюбите, если станете опять видеть ее добродетели и все прекрасные черты.

Король, казалось, слушал ее без внимания. Ла Файетт не решалась продолжать, и оба некоторое время молчали: она – ожидая его ответа, он – пояснения. Луиза, заметившая затруднение подруги, подошла к ней; но ла Файетт подала ей рукой знак удалиться, давая понять, что присутствие ее может отвлечь внимание короля. Хотела было продолжать, но слова замирали на ее губах и речь прерывалась:

– И еще, государь... королева любит вас... она так молода еще...

– Ей столько же лет, сколько мне... тридцать шесть.

– Ваш союз был бы счастьем для Франции.

– Но мы говорим о нашем брате... Что ему до этого? – возразил король.

– Ах, стало быть, вы не хотите меня понять... Завладейте вашим престолом – как для будущего, так и для настоящего! Ваша наилучшая опора и защита против заговоров – будущий сын ваш!

Ла Файетт ясно доказала ему, сколько силы, значения и вместе с тем спокойствия доставит ему наследник престола. С таким убеждением восхваляла королеву, ее добродетель, кротость, даже красоту, что приведенный в замешательство Людовик XIII, соглашаясь с ее уверениями, почти забыл о своей ненависти к Анне Австрийской и обещал приступить к примирению с ней.

– Думаю, лучше сначала посоветоваться об этом с кардиналом, – в конце концов отозвался он.

Ла Файетт, обиженная этими словами, выражавшими подчиненность старшего младшему, вдруг вспыхнула и, забывшись, сказала с некоторой запальчивостью, не думая, что это может привести ее к гибели:

– Опять с кардиналом! Государь, уж не собрать ли вам также государственный совет, чтобы осмелиться быть мужем вашей супруги?

Король по своему обыкновению понижал голос, по мере того как монахиня его возвышала. Луиза присоединилась к подруге, как бы желая этим ускорить примирение супругов, и, скрестив руки, со слезами на глазах – не понимала, конечно, что тут есть причина, о которой девушкам знать не следует, – обратила к королю жалостный, умоляющий взор.

Не странно ли, что две молодые женщины, со всей чистотой и целомудрием помыслов, давали подобные наставления любострастному сыну Генриха IV. Луизой руководило лишь непритворное чувство подражания. Что касается ее подруги, тут проявлялось полное отречение от самой себя: в то время, когда любила короля, отношения с королевой, которой служила фрейлиной, почти всегда тяготили ее. Возможно, в сердце пробуждалось невольное чувство ревности, соперничества; или хотела, чтобы не она, а другая стала соперницей юной пансионерки в любви Людовика XIII; а может быть, желала только ее спасти... Как бы то ни было, король согласился с высказанным ему мнением.

Собираясь ехать, он заметил, что дождь не перестал, а пошел сильнее прежнего. Весь монастырский двор покрылся лужами, и вода доходила почти до монастырских сеней. Ла Файетт не советовала королю возвращаться в такую погоду, притом ночью, в Версаль.

– Так куда же мне ехать? – задал он вопрос, выходя из монастыря и садясь в карету.

– В Лу-увр! – прокричала она.

И как всем известно, королевский поезд двинулся по направлению к Лувру.

Глава III. Празднества по случаю рождения сына у короля

Праздновалось рождение дофина (ставшего впоследствии королем Франции под именем Людовика XIV), которое последовало в воскресенье 5 сентября 1638 года, и весь Париж превратился, казалось, в радость, восторг и упоение.

Везде толпился народ: на улицах и мостах; в Лувре и Тюильри; в Доме и перед Домом иезуитов, которые в знак счастливого события публично представляли трагедии; перед монастырем Бернардинского ордена на улице Нёв-Сент-Оноре – сюда после объявления о раздаче всеобщей милостыни стекались со всех сторон города бедняки; множество любопытных на гуляньях, набожных в церквах; а сколько окон, украшенных щитами и гирляндами; кораблей, судов и лодок на реке, увешанных флагами... Повсюду движение: чернь и солдаты, женщины и мужчины, старики и дети – люди всех званий и состояний.

Крики, песни, поклоны, приветствия без конца... Кто проходил в то время по Парижу, видел зрелище самое пестрое, разнообразное и чрезвычайно любопытное: лица молодые и свежие, старые и безжизненные, белые и румяные, смуглые, желтые и бледные; а глаза, волосы, прически, шляпы, токи; богатые плащи и камзолы и платье совсем бедное...

Не меньше людей и на бульварах, набережных, на Сен-Лорентской ярмарке, продолжавшейся в тот год дольше обыкновенного на площади Эстрапад, где по случаю праздника паяцы, фигляры, арлекины и фокусники забавляли публику своими представлениями. Право, нельзя вообразить, чтобы такое множество народа, что вся эта масса жила в одном городе.

А взору, устремленному вдаль, представлялся вид необыкновенный, в особенности с Нового моста. Отсюда, если смотреть на Сену, разделяющуюся на два рукава около центральной части города, открывалась восхитительная картина на четырех берегах реки, обратившихся в черную полосу. Огромный людской поток беспрестанно прибывал со всех сторон, направляясь к Лувру: таким образом все избегали огибать набережные, почти так же непроходимые из-за толпившихся любопытных. Тихие воды Сены струились мелкими рябинами, отражая светлой, волнистой полосой лучи солнца. По ним плыли сотни лодок и катеров разных размеров, нагруженных богато одетыми пассажирами, которые в знак своего одобрения и торжества ради махали в воздухе разноцветными лентами и лоскутами. На сопровождавших маленьких челноках помещались музыканты. Вся эта флотилия беспрестанно проходила под мостами, устроенными на довольно близком друг от друга расстоянии на двух рукавах реки. Но вот все, что плыло, причаливало к берегу, и тогда пассажиры и лодочники обменивались радостными приветствиями и громкими возгласами – каждому не терпелось поделиться своей радостью. После этого, с музыкой и радостными криками, раздававшимися со всех сторон, отправлялась далее. Так ликовали парижане по случаю неожиданного рождения у короля сына – теперь, кажется, наступит конец междоусобным войнам. За это счастье приносили благодарение Богу, королю, королеве и Святой Женевиеве Нантерской – перед ней так часто и усердно молилась Анна Австрийская, просившая даровать ей сына; благодарили и духовенство, которое, без сомнения, долго молилось о таком событии; но никому, конечно, не пришло в голову воздать должное мадемуазель ла Файетт!

На левом берегу реки, по ту сторону Неверского отеля и городских садов, а также Нельской заставы, от которой были проведены новые улицы на месте, занимаемом прежде посадом Пре-о-Клерк, показывались разные шествия: длинные процессии духовенства из трех приходских церквей; депутации яковитов и капуцинов; разутых кармелитских монахов и английских бенедиктинцев. Все они шли во дворец приветствовать королевского сына: ему всего несколько дней от рождения, и его специально привезли из Сен-Жермена, где он родился, чтобы показать доброму народу. Далее следовали ремесленные цехи со значками и флагами, развевавшимися по ветру. Тут много чего наблюдалось занимательного: каждый из виноторговцев нес в пода-

рок новорожденному принцу кубок граненого хрусталя, украшенный лилиями и наполненный благородным вином, произведением главнейших виноградников Франции; типографщики, в сделанных из бумаги картузах на головах, водрузили на бархатную подушку часовник в богатом переплете, приготовившись прочесть наизусть перед крошечным дофином оду господина Коллете, заседавшего во Французской академии; наконец, королевские скрипачи намеревались играть перед окнами покоев, где помещался новорожденный.

На набережной Малаке виднелась длинная многоцветная полоса, составленная из толпы народа; масса двигалась к деревянному мосту Барбье, вблизи которого находился прежде большой паром для перевоза с одного берега на другой придворных, отправлявшихся в Лувр, или стад, перевозимых на пастбу в поле Красного Креста.

В то время с Нового моста была проведена улица Бон, которая вела прямо к Тюильри. Сначала, кроме флагов, значков, знамен и церковных хоругвей, развевавшихся по ветру, дувшему на юго-восток, по течению реки, ничего не было видно; потом суматоха и волнение в народе еще более усилились.

Предшествуя экипажам, отправившимся из Лувра, королевские мушкетеры, французская и швейцарская гвардия шли по мосту в то же время, когда духовенство и городские цехи – неимоверное смешение касок, капюшонов, шляп и бумажных картузов; выше толпы, в воздухе, – пики, алебарды, флаги, знамена, кресты и украшенные галунами шапки кучеров, сидящих на высоких, выше всех козлах.

Наконец, пестрая, разноцветная толпа стала суживаться, выравниваться, приходить в порядок, образовывать ряды, и старый Луврский дворец, к которому вся эта масса двигалась, опустил перед ней свои подъемные мосты. И в то время, как она тихо, безмолвно, с почтением вступила процессией в огромный двор Лувра, другая, навстречу ей, вышла из него с шумом, гамом и криками радости – ей уже привелось видеть новорожденного – и направилась обратно к Новому мосту, чтобы приветствовать громким «ура!» бронзовую статую Генриха Великого: украшенный цветами и блестя от солнца, он, казалось, радовался вместе со всеми своему внуку.

Новый мост представлял зрелище, также заслуживавшее пристального внимания. Он был обычно главным центром, где собирались многие и разные люди: торговцы аптекарскими и москательными товарами, мелкие продавцы эликсира и «симпатичного» порошка (он был в то время в большой моде), изобретатели всецелебных лекарств, зубные врачи, все великие медики – самоучки. Сюда сходились и певцы рождественских славословий, песен религиозных и светских, фигляры, плясуны, уличные комедианты, фокусники, а с ними и толпы зевак, готовых любоваться хоть каким зрелищем.

Горе провинциалу, если приехал он в то время из Пуату или Сентонжа и очутился среди этого шумного сборища, где так легко его отличить по боязливой походке, глазам, непрерывно озирающимся во все стороны, по шляпе с кургузыми полями или подстриженным усам. Скоро становился он предметом всеобщего внимания и насмешек, и наиболее искусные площадные лекаря овладевали им как добычей для своих опытов. Тогда ему, как бы возведенному в звание ученого, приходилось отвеживать всевозможные сорта эликсира; на платье его уже не было пятен: их вычистили, растирая особым составом (тоже изобретение) – очистительным камнем, имеющим свойство выводить пятна с материи. Шляпа его выглядела совсем как новая от химической воды, изобретенной в то время и называвшейся «жуванской водой». Ну а имел он во рту сомнительный зуб, так, хорош или худ, его выдергивали под крики удивления толпы. Хорошо еще, когда бедный провинциал терпел только от уличных шарлатанов и выходил из толпы без дальнейших приключений, не ограбленным зрителями. Ведь в то время воровство было ремеслом не одних нищих бродяг, но и дворян с той разницей, что первые воровали из нужды, а вторые – для собственного удовольствия. (А что, не делается ли того же и в наше время – в наш образованный девятнадцатый век?)

К вечеру того же дня многолюдная столица, устав кричать, плясать, веселиться и радоваться, замолкла. Слышался только какой-то однообразный гул, по временам прерываемый громкими криками не уgomонившихся еще пажей, учеников и подмастерьев. Темнота ночи, что упала на город, рассеивалась светом догоравшей иллюминации или факелами лакеев, которые сопровождали кареты своих господ, – те, выехав из Лувра, возвращались домой. Наконец, уже поздней ночью в городе наступила глубокая тишина: нигде не слышалось шума экипажей, запоздалые гуляки разбрелись уже по своим жилищам; весь Париж спокойно спал.

На месте, где полвека спустя появилась площадь Победы, возвышался в то время великолепный, окруженный другими дом ла Ферте Сенектеров; красивый подъезд украшен богатым гербом герцогского достоинства – на широкой мантии голубой щит с пятью серебряными ветками.

В одной из комнат этого дома – противоположные улице окна выходили в роскошный двор, а углом на маленькую улицу – две женщины в эту самую ночь, обложившись мягкими подушками в широких креслах с высокими спинками, разговаривали перед затопленным камином.

У старшей лицо уже немолодое, продолговатое; живой взгляд выражал веселость, несколько умеряемую привычкой к набожности. Распустившаяся прическа, широкий, из генуэзского шелка капот с большими цветами, босые ноги в суконных туфлях – все свидетельствовало, что она у себя дома, забыла про поздний час ночи и давно ожидавшую постель.

Другая, молодая, со свежим лицом, красивая, можно даже сказать – красавица, еще одетая по-дневному, наряженная, в косынке в стиле Медичи, с жемчужными украшениями на голове – мадемуазель д’Отфор, фрейлина, наперсница королевы, первая из тех, кто избран сердцем короля. Очень поздно покинула она Лувр, где не нашла себе комнаты для ночлега (весь дворец наполнен множеством докторов, нянек, мамок и т. п.) и приехала ночевать к своей приятельнице, отчасти родственнице герцогине ла Ферте. Задушевный, дружеский разговор, не давая спать, удерживал их перед камином. Предметом беседы были различные события, происходившие в тот день в Луврском дворце.

– Что же сказал король городским общинам? – продолжала герцогиня.

– Король, – отвечала мадемуазель д’Отфор со свойственными ей откровенностью и шутливостью и приняв по привычке насмешливый тон, – сказал одним, как бы в отплату за их блестящие обещания: «Сделайте это, и я буду для вас добрым королем». Другим: «Пусть так, и надейтесь, что... буду я для вас добрым королем». Этим: «Продолжайте действовать по-прежнему, и... я буду для вас добрым королем». Тем... – свою обычную и вечную формулу: «Держите себя благопристойно, платите исправно оброки и подати, и будет вам хорошо». – При этих словах она громко расхохоталась.

Герцогиня намеревалась последовать примеру подруги, но удержалась и приняла важный вид.

– Вы не скромны, дитя мое. Неужели вы так скоро забыли добрые наставления аббата Сен-Сирена? – И с умилением подняла глаза на небольшой портрет аббата, висевший над камином.

– Я сказала истину, герцогиня, и повторила только, слово в слово, нечто из речей его величества.

– Да... но вы говорите про короля тоном, ясно показывающим вашу злобу на него. Его величество перестал оказывать вам прежнее внимание, и вы негодуете.

– Совсем нет, клянусь вам! – возразила хорошенькая фрейлина, немного обидевшись на такое замечание. – Его благорасположение никогда не было для меня полезным, я не видела в нем особенной выгоды – ни для себя, ни для своих близких и родственников, – а довольствовалась только некоторой продолжительностью его. Правда, что король был в то время близок мне, даже очень близок... и слова его действовали не на один мой слух, но и на сердце.

– Ах, да это злоба, ненависть! – вскричала герцогиня, всплеснув руками и откинувшись на спинку кресла.

– Нисколько! – продолжала хладнокровно ее собеседница. – Разве вы не знаете: Баррадас и Сен-Симон получили по той же самой причине, вследствие преувеличенного стремления к философствованию, известие о потере к ним, любимцам, королевского благорасположения.

– Ну хорошо, хорошо, злое дитя! Прочтите-ка еще раз книгу аббата Сен-Сирена, и вы увидите, с каким почтением следует подданному относиться к своему монарху.

– О, никто так не заслуживает уважения, как наш король; никто так не умеет держать нас на должном от себя расстоянии.

Герцогиня ла Ферте невольно улыбнулась в тот самый момент, когда припоминала одно изречение аббата Сен-Сирена, – все ее разговоры наполовину состояли из его уроков.

– Знаете ли вы, что заставляет вас так негодовать на короля? – Она положила руку на колено мадемуазель д’Отфор и устремила на нее проницательный взор. – Удаление от двора маркиза де Жевра.

Д’Отфор вдруг покраснела и отвечала с притворным равнодушием:

– Так и вы принадлежите к тем, кто думает, что маркиз де Жевр был со мной в дружеских отношениях?

– Конечно. Сын мой, большой приятель маркиза, уверял меня, что при отъезде маркиз казался сильно опечаленным и поклялся возвратиться в Париж не раз, несмотря на строжайшее запрещение.

– Однако он не возвращался! – забывшись, проговорила со вздохом д’Отфор. – По крайней мере я не получала о нем никакого известия, уверяю вас! – прибавила она с некоторой живостью.

– Ну что говорить об этом – расскажите лучше, что происходило в Лувре, где вам удалось все хорошо видеть и слышать.

– А разве не все я вам пересказала?

– Нет, далеко не все. Какую мину делал его величество королеве со времени рождения сына?

– Весьма непривлекательную.

– Вы опять за прежнее!

– Совсем нет! После разрешения королевы от бремени король едва согласился поцеловать ее. С трудом решился даже взглянуть на дофина.

– Однако говорили, что между супругами последовало полное примирение.

– Да, но только на глазах, а не на самом деле. Ла Файетт продолжает деспотически действовать на сердце легкомысленного монарха... Вы знаете это? – На этот раз д’Отфор не скрывала своих чувств и громко засмеялась.

– Ла Файетт, монахиня! О, берегитесь, сердитая, – вы ни к чему не имеете почтения! Прочитайте апологию аббата Сен-Сирена против господина де ла Рошпозе, и вы увидите, какое мнение должно иметь нам о тех, кто посвятил себя Богу.

– Я вовсе не нападаю на ла Файетт. Виновата ли она, что король находит ее еще более хорошенькой в ее монашеском уборе? Так, видимо, надо думать, судя по частым посещениям им Благовещенского монастыря за последние десять месяцев. Это очень тревожит кардинала, говорят, он собирается принять меры.

– Кардинал этим встревожен! – воскликнула вдовствующая герцогиня, с неподдельной радостью скрестив руки. – Хотя я и христианка, но весьма буду рада, если ла Файетт удастся настроить короля против него. Не он ли, чтобы угодить иезуитам, засадил в Бастилию бедного моего аббата Сен-Сирена? Удивляюсь, как Франция не восстала еще в негодовании!

– Берегитесь, герцогиня ла Ферте, – д’Отфор, как бы в виде угрозы, поднесла указательный палец к губам, – вы проповедуете бунт!

– Нет... что ж, это был бы бунт добра против зла – восстание против сатаны! Ла Файетт уже пыталась... на сей раз ей, быть может, удастся, и тогда...

– Ла Файетт на все способна, – прервала насмешливая д'Отфор, – ведь ей удалось уже примирить короля с королевой. Правда, примирение это оказалось недолгим.

– Ах, кстати, миленькая, расскажите-ка мне, каким образом произошла эта мировая? Не говорила ли вам чего-нибудь об этом сама королева?

– О, это престранная история, никому не решусь рассказать, кроме вас, зная вашу скромность.

– Да, я не болтунья, с этой стороны вам опасаться нечего!

– Но мне известно также, – прибавила колко хорошенькая фрейлина, – ваше отвращение к злословию, и в этой истории король, скажу вам, играет роль довольно странную...

– Так вы объявили ему войну насмерть сегодня вечером? Что за беда! – возразила нетерпеливая вдова ла Ферте. – Но, конечно, вы воспользуетесь его снисхождением, не так ли?

– Это нелегко... и притом же аббат Сен-Сирен в своей книге...

– Ах, боже мой, да начинайте же ваш рассказ! – проговорила с нетерпением герцогиня.

Собеседницы придвинули кресла ближе друг к другу; герцогиня протянула к камину ноги, поправила подушки, уселась в них еще глубже, расположилась удобнее, чтобы слушать, и д'Отфор продолжала:

– Вы помните, конечно, тот день, когда король, о котором думали, что он отправился на охоту в Версаль, показался вдруг со своими мушкетерами в Сент-Антуанском предместье? Королева узнала об этом уже поздно вечером, при отходе ко сну; и дежурная камер-фрейлина, не окончив еще расчесывать ей волосы, ибо голова королевы завита редкими фестонами кругом и напудрена...

– Да разве королева переменила прическу?! – Герцогиня даже немного приподнялась в кресле.

– Переменила – вот уже восемь месяцев и две недели, как носит букли, – отвечала, улыбаясь, д'Отфор, удивленная тем, что немолодая ее подруга, давно оставившая двор, принимает столь живое участие в переменах, происходящих в моде, – ведь они всегда, как и в наше время, были так часты и неуловимы.

– Заканчивайте же ваш рассказ, моя милая! – И герцогиня, как бы несколько устыдившись своего движения, приняла прежнюю позу.

– Наконец все разъехались, кроме фрейлины Шемеро и меня. Королева, оставшись с нами, могла откровенно говорить о том, что ее занимало. Разговор шел о посещении королем Благовещенского монастыря, но ее величество была против обыкновения скучна, – может быть, из-за новых неприятностей, причиненных ей кардиналом, или погода на нее действовала: шел проливной дождь.

– Это правда, погода нынче стоит прескверная, даже сам аббат Сен-Сирен заметил это – по своей подагре, снова стала беспокоить.

Мадемуазель д'Отфор, умолкнувшая на время, начала снова, не позволяя более прерывать себя то набожными, то светскими рассуждениями:

– Итак, мы остались одни: королева, мадемуазель Шемеро и я. Ее величество надела ночной костюм, я помогала ей снять чулки. В это время мы услышали шум алебард в одном из передних помещений дворца, где находится караул из ста солдат швейцарской гвардии. Вдруг мы увидели короля: согласно правил этикета он вошел без доклада в комнату супруги. Никто не ожидал этого посещения – ведь отношения между супругами с давнего времени прекратились. Испуганные, мы остались неподвижны: я – на коленях перед королевой, королева – сидящей с поднятой ногой, я как раз кончала снимать ей чулок. Мадемуазель де Шемеро мешала в камине угли и так и оставалась сидеть на полу, с поджатыми ногами и щипцами в руках. Впрочем, короля так же стоило бы нарисовать в эту минуту, как и нас. Он был чрезвычайно

пасмурен и угрюм, все в том же костюме, не снял даже перевязи с охотничьей шпагой, а перья шляпы, отяжелев от сырого воздуха, свесились на лицо. После молодецкого вступления в комнату остановился как вкопанный посреди нее, с изумлением взглянул на нас – и не произнес ни слова...

Наконец Шемеро отошла от камина, я сняла чулок королеве и все мы быстро встали как по команде, чтобы приветствовать поклоном его королевское величество: я – с чулком в руке, мадемуазель де Шемеро – с щипцами, а королева – с босой ногой, ибо другая нога ее была еще не разута.

Король все еще ничего не говорил. По сделанному королевой знаку мы удалились, и, когда я поцеловала ей руку, она сказала мне вполголоса: «Я не досадую – он пришел, конечно, ссориться со мной, но я чувствую себя в силах возражать ему». Всю ночь не могла я спать – боялась, что между августейшими супругами произойдет сильная ссора!

Король, как я позже узнала, сначала жаловался королеве на своего брата Гастона Орлеанского, говорил о возмущениях, возбужденных недавно в королевстве по его наущению графом Суассонским, герцогом Монморанси, графом Шале; вспомнил о мятежах в Гиени и Лангедоке. Королева смело свалила всю вину на кардинала и жаловалась в свою очередь на жестокое обращение с ее прислугой, невозможность свою быть с кем-либо в переписке – письма ее всегда перехватывались – и на свое уединение в Вал-де-Грасе, которым, подобно неприятелям, насильственным образом завладели агенты кардинала.

Король, несмотря на свой мрачный и суровый вид, пришел к Анне Австрийской вовсе не ссориться, в доказательство чего пытался дать совершенно иное направление разговору, беспрестанно твердя одно: пора наконец прекратить злонамеренные действия Гастона, разбить его надежды на завладение престолом, уничтожить мятежников, упрочить будущность трона. Все яснее давал он понять, что с другим намерением явился к королеве, – вмешивал в свою речь ласковые, приветливые слова. Но – злосчастна его звезда от рождения – всякий раз, как старался принять тон более мягкий, заикание, которое нередко проявлялось, препятствовало ему выражаться свободно и он не выговаривал начатых слов, что бесило его и он еще больше заикался. Стараясь устранить по мере возможности этот недостаток, король подбирал слова, которые ему легко произносить, и в результате оставались одни жалобы и упреки.

Королева потеряла наконец терпение и решила не оставаться в долгу, тоже облегчить душу – выразить все чувства, ее волновавшие. Тогда буря стала подниматься между супругами, угрожала разразиться страшная гроза, но тут пришли спросить его величество, какие угодно ему отдать приказания насчет отхода ко сну. «Я остаюсь здесь!» – произнес он скороговоркой. Королева изумилась при изъявлении такого желания. «Ну, вот что я собирался целый час сказать вам», – прибавил он, потупив глаза. Итак, король остался ночевать у королевы... и тем спас Францию от анархии. И д'Отфор заключила свой рассказ смехом.

На этот раз герцогиня от души последовала ее примеру, и тут на часах в доме ла Ферте пробило полночь. Обе собеседницы, искренне удивленные, что уже так поздно, посмотрели с несколько притворным испугом друг на друга и стали приготовляться ко сну. Герцогиня исполнила должность горничной, помогая мадемуазель д'Отфор раздеться, и, когда та легла, начала, как сама говорила, совершать свой последний тур по комнате – как бы некоторый моцион, перед тем как идти спать.

Перекрестившись, она смочила кисточку в кувшине со святой водой и окропила постель, мебель и все углы; потом стала на колени перед образами, поставленными на столе у окна, выходившего на маленькую улицу, и принялась молиться с молитвенником в руках. Мадемуазель д'Отфор уже спала, госпожа де ла Ферте все еще молилась, и под действием то ли сна, то ли экстаза ей послышался чей-то голос, будто выходящий из стены.

– Слава Великому Гедеону! – кричал этот громкий, несколько отдаленный голос.

– Слава Великому Гедону! – повторила герцогиня. – Слава Гедону, отцу Авимелеха, победителю Мирианитян, израильскому судье!

Потом вдруг послышался ей ужасный шум: сатанинский смех, проклятия, неистовые крики... Она открыла глаза, отвлеклась от своего экстаза и прислушалась внимательнее: шум доходил с маленькой улицы, идущей вдоль дома ла Ферте, позади него. Подошла к окну и подняла занавески: кошмарный хохот, песни, крики усиливались... Богомольная вдова почувствовала мгновенно, как сильная дрожь пробежала по телу. «Это какие-то злоумышленники! Задумали, видно, вломиться в мой дом и разграбить его!» – пришло ей в голову.

Эта мысль расширялась в перепуганном воображении, с каждой минутой страх усиливался. Не тревожа сна молодой девушки, взяла свечу и прошла в комнаты сына, герцога Генриха ла Ферте (именно он в будущее царствование Людовика XIV стал маршалом Франции). Как же она поразилась, найдя комнату сына пустой, постель – оставленной в беспорядке, и еще веревочная лестница спускалась из отворенного окна, выходившего на маленькую улицу... Бедная герцогиня чуть не лишилась в этот момент рассудка.

Позвонить своим людям, поднять всех на ноги, послать одного за управляющим, другого – за полицейским комиссаром, третьего – за начальником ночной стражи – все это заняло у нее несколько минут, после чего она лишилась чувств.

Однако неимоверный шум, раздававшийся в комнатах дома с двух сторон одновременно, разбудил-таки мадемуазель д'Отфор; она протерла глаза, поднялась с постели и подошла к окну, ярко освещенному снаружи. Перед ней в большом великолепном светлом зале проступили как в тумане тени человеческих фигур... Подобно герцогине, она почти поверила в видение, так как потревоженный сон не вполне ее оставил и мысли еще не прояснились.

Всматриваясь в окна соседнего дома, увидела: в середине зала – широкий, покрытый скатертью стол, уставленный блюдами с кушаньями, от них поднимается пар. Свет множества зажженных свечей отражается в драгоценном хрустале... Несколько десятков мужчин и женщин с громкими возгласами и хохотом чокаются высокими стаканами, все порядочно пьяны. Одни обхватили рукой талии соседок, другие, склонясь к ним на плечо, любезничают и, кажется, готовят более поцелуев, чем нежных слов и комплиментов. Все участники застолья среди всеобщего веселья и радости, без сомнения, взаимно расположены к удовольствиям и любви...

Кто сказал бы когда-нибудь этой благородной, гордой девушке, что ей придется стать свидетельницей распутной пирушки у мадам ла Невё, известнейшей в то время спекулянтки (Буало упоминает о ней в своих стихах). Причина веселого пиршества – новоселье мадам Невё. Чтобы дать более свободы гостям, избавить их от дневного жара – день был знойный, – она назначила у себя праздник ночью. Но ведь шум услышат на улице... решили не открывать окон – все задыхались в душном, спертom воздухе от винных паров и жара зажженных свечей. Но Великий Гедон (такое имя присвоили главе пира), несмотря ни на какие возражения, приказал окна отворить, объявив наиболее противившимся: «Скандал – тем лучше: празднуем еще веселее!»

Мадемуазель д'Отфор пристально вглядывалась не только в лица женщин, разумеется ей незнакомые, но и мужчин и многих узнала. Относительно некоторых смело поручилась бы, что они ей знакомы. Это они, она их видит! «Конечно, это сон! – говорила она самой себе, чувствуя в сердце печаль и сострадание. – Ведь я тут вижу маркиза де Жевр, а он в отсутствии, его нет в Париже, наверняка нет! Он из-за меня изгнан из Парижа, я – причина его ссылки! И вот он здесь... о, нет, нет, это невозможно, я ошибаюсь! А там кто? Да Генрих ла Ферте, герцог Генрих ла Ферте... я у его матери!.. Да, и он тут... он дома и уже спит... так-так... А тот, другой? О, столь могущественное лицо, знатная особа! Но его тоже нет теперь в Париже... невозможно, чтобы это был он! Нет, это мечта, бред... мои глаза после сна видят не совсем ясно...» И, желая удостовериться, что всю картину наблюдает в действительности, а не во сне,

провела руками по лицу и волосам и отошла от окна; потом снова приблизилась к нему, потерла глаза... Удостоверясь в истинности всего зрелища, смело вывела по своему обыкновению трезвое о том заключение и с улыбкой вернулась к своей постели. Сон скоро вполне овладел ею, несмотря на беспокойство и взволнованные мысли, – такова уж была мадемуазель д'Отфор.

Глава IV. Великий Гедеон

Пробило три часа ночи, пир у мадам ла Невё еще продолжался – уже не праздник веселья, но торжество разврата и соблазна; тут не кричали, не пели теперь, а выли, рычали, подобно волкам или другим диким зверям. Лица у пьяных гостей то болезненно-бледные, то красные; глаза у кого мутные, у кого блестящие; кругом опрокинутые или разбитые бутылки; скатерть облита красным вином. Опьяневшие женщины, как бы для поддержания роли, свойственной своему полу, громогласно восхваляли вино, любовь и мужчин среди шума и гама пирующей компании; ну а мужчины, разгоряченные вином, мужественно сопротивлялись его действию. В одном углу комнаты множество наваленного одно на другое верхнего платья: плащи, мантильи, накидки, береты, токи с перьями, шарфы разных цветов из всяких материй; в другом углу несколько мужчин позволили себе вольное обращение с женщинами. Там, подальше, – игроки: сидели по-турецки с поджатыми ногами среди карт и золота, рассыпанного на скамье... звучали хмельные клятвы, уверения в любви; тут поцелуи, рядом ссоры, брань, застольные песни... Такова была в ту ночь картина в доме мадам ла Невё.

Глава пира, усталый, изнеможенный, пресыщенный вином, ослабевший телом, уже около часа спал на кровати в одной из смежных с залом комнат. Быть может, усиление скандала, шума, грома, хохота и неистовых восклицаний следовало приписать отсутствию Великого Гедеона: при нем общество как будто несколько воздерживалось – таково было почтение к достойному гуляке. А теперь он один, наверно, из всех живущих по соседству, безмятежно спал среди всего этого адского грохота, который к тому же еще усиливался.

В разных частях улицы жители домов, испуганные шумом, не понимали, что происходит около них и, встав с постелей, высовывали головы из окон и в свою очередь кричали изо всех сил: «У нас воры!.. Разбойники!.. Грабеж!..»

Через некоторое время рядом послышался лошадиный топот; замечались зажженные факелы – свет их отражался в касках: это прибыли солдаты, которых ежедневно посылали по очереди в ночной объезд; на лошади старшего сидел позади него пристав городской полиции – полицейский комиссар. Солдаты подъехали к дверям дома, откуда доносился шум, и принялись стучать, ломиться в двери, требуя именем короля, чтобы их пропустили.

В окошке показался человек с красной тесьмой в руке; лицо его было спокойно; он знаками потребовал внимания, показав, что хочет говорить. Пристав со своей стороны заявил, что слушать следует его. Наступило молчание; тогда показавшийся в окне гуляка начал громким голосом петь на стихи поэта Сент-Амана:

Подать мне красного вина
Бутылку, да непечатую!
Как жажда у меня сильна!
Вмиг шейку ей сверну крутую,
Тотчас отдам ее пустую!
Я в честь пирушки сей сыграть
Хочу Пантея смерть – смотрите!
Но не его хочу заклать,
А борова того – глядите!

Жестом указал на полицейского комиссара и продолжал:

Но что я, ах, ведь это глаз
Обман, – как будто бы спросонок:

С презрением таким на нас
Глядит не боров, – поросенок!

И перед концом третьего куплета, как бы показывая пример возлияния в честь богов, он опрокинул бутылку и вылил вино прямо на голову полицейскому чиновнику – тот, задрав подбородок, его слушал. Вzbешенные солдаты тут уж без обиняков потребовали их выпустить и, предшествуемые приставом – с него ручьями текло вино, и он вытирал лицо полкой камзола, – бросились к лестнице. Испуганная служанка отворила им дверь, и ее тут же арестовали.

Первое помещение, куда вошли солдаты, – тот самый зал, где происходила пирушка. Там оставались из всего общества только женщины; при виде солдат они прижались друг к другу, бледные, с дикими, блуждающими взорами и, онемев более от страха, чем от неумеренного употребления вина, не могли произнести ни слова в свою защиту. Тотчас их всех забрали; в это время подошли ночные сторожа разных соседних мест, как бы в подкрепление солдатам, и им поручили вежливым образом отвести этих нарядных красавиц в госпиталь. Полицейский пристав, или комиссар, направился ко второй двери; на пороге встретил его мужчина величественного вида в коротком испанском плаще, украшенном богатым шелковым шитьем; в изысканно вежливых придворных выражениях он пригласил пристава войти в комнату, но попросил запретить это сопровождавшим его. Пристав согласился, приказав солдатам в случае надобности быть готовыми явиться на его призыв. Те, оставшись в зале, где еще не убрали со стола, почувствовав внезапно аппетит, принялись уничтожать остатки ужина – надо же чем-то заняться.

Вслед за своим проводником комиссар вошел в другую комнату и увидел на измятой постели какого-то господина, одетого весьма небрежно, в одной рубашке, который, заметив его, начал петь:

Вот по причинам, но каким –
Знать никому не подобает,
А потому и мы молчим, –
Король нам петь не дозволяет
Лихую песню лантюрю!
Лантюрю! Лантюрю! Лантюрю!

– В каком состоянии этот несчастный! – проговорил полицейский комиссар с видом некоторого сожаления и обратился к этому новому певцу: – Кто вы? И что вы здесь делаете? Ну же, отвечайте, молодец!

Тот, приподнявшись с трудом на ноги, ибо был пьян, пробормотал едва слышно, но с важностью:

– Кто я?.. Я – Великий Гедеон! Я пел... лантюрю! – И снова повалился на кровать.

В это самое время из соседней комнаты показался прежний певец, подошел скорыми шагами к своему начальнику и затянул второй куплет песни:

Вот скоро королева-мать
Сюда в Париж к нам подоспеет,
И принц, брат короля, сказать
Тогда и слова не посмеет;
Все будет тихо, говорю,
Не пели б только лантюрю!

– Какая дерзость! – возмутился комиссар. – Петь песни про королевскую фамилию!

Вошел третий и подхватил куплет второго:

Послы от всех почти держав
К нам ныне часто приезжают:
Торжественно пред троном став,
Все жалобами докучают
Они своими королю,
Что слышат всюду: лантюрю!
Лантюрю! лантюрю!

– Каково! Насмехаться даже над иностранными державами! – проговорил комиссар.
Явился четвертый и продолжил:

Как жалобы свои послы
Красноречиво изложили!
И безбоязненно они
В глаза правительство бранили.
Что было делать королю?
Он отвечал им: «Лантюрю!»

– «Лантюрю»! – воскликнул до крайности раздраженный пристав. – Это ужас! Приписать подобное выражение его величеству королю Франции!

Пятый, не отставая от приятелей, начал вслед за четвертым петь следующий куплет:

А наш добрейший кардинал,
Боясь беды от этой ссоры,
Для них все сделать обещал,
Чтоб прекратить лишь разговоры.
Потом, оборотясь к Ботрю,
Сказал ему вслух: «Лантюрю!»

– О, они даже и к кардиналу не имеют почтения!
Шестой последовал примеру пятого и подхватил:

Об этом деле известил
Наш нунций папу; то узнавши,
Отец святой наш огласил
Весь Рим, как бы шальной вскричавши,
В том подражая королю:
«Лантюрю! Лантюрю! Лантюрю!»

– «Лантюрю»! «Лантюрю»! Запрятать вас бы всех в тюрьму! – проговорил полицейский чиновник, напевая на мотив песни, хотя был сильно взволнован от гнева.

Наконец шестой заключил:

Министр, чтоб Францию от бед,
Ей угрожающих, избавить,
Велел ко всем дворам ответ
Тотчас же письменный отправить,

И вот какого содержания:
«Лантюрю! Лантюрю! Лантюрю!»

И все хором повторили: «Лантюрю!» после того как остальные вошли процессией в комнату, занимаемую Великим Гедеоном, и встали в два ряда, один напротив другого, у его кровати.

– Какое войско, подумать только! – изумился пристав. – Но будь вас здесь хоть сто человек, вы от меня не уйдете, негодяи! У меня вон там двадцать солдат, чтобы вас образумить! – И всмотрелся пристальнее в певца последнего куплета, который сам глядел на него с дерзкой, насмешливой улыбкой: – А, вот тот самый, который вылил на меня из окна вино! Как твое имя?

Тот, кому он задал этот вопрос, принял гордый вид, улыбнулся, закрутил вверх усы и с важностью отвечал:

– Я Жан-Пьер де Марильяк – вот мое имя! Клянусь Бахусом, что не отопрюсь от него за стакан вина... который бы не выпил!

– Черт возьми! Откуда он украл это имя? – проговорил сквозь зубы комиссар, записывая его первым на своем листе.

– А твое? – снова начал он, подходя поочередно к певцам.

– Гуго Роберт, барон де Монтморен! Я так же не отопрюсь от своего звания, как и Марильяк.

– Тебя как зовут?

– Генрих д'Эскар де Сен-Бонне, синьор Сент-Ибаль!

– Гм, синьор! – повторил с насмешкой пристав. – Дворянин вроде Готье-Гаргиля, не правда ли? Шутник ты эдакий! Нет нужды, все равно! Вы скажете про себя вернее, когда вас засадят в тюрьму. А твое имя как, неуклюжий?

– Людовик д'Астарак, виконт де Фантрайль, недоучка!

– Хорошо, потом... ну, ты, смельчак! Вишь все какие именитые! Говори же свое имя!

– Франциск де Поль де Клермон, маркиз Монгла!

– О! Далее.

– Я – Леон Потье, маркиз де Жевр!

– Так, теперь уже и маркизы пошли! – пожал плечами комиссар. – Да что это вы, молодцы! Разве мы здесь для того, чтобы выказывать себя один перед другим? Какой жалкий маскарад! А вы, – прибавил он, обращаясь к следующему, – пари держу, что вы герцог.

– Именно так: Роже дю Плесси, герцог Лианкур!

– А я герцог Рандо, наследный принц Бухский, маркиз Сенесей, граф Беножский и Флейский!

– Я герцог ла Рошфуко, принц Марсильяк, маркиз Гершвиль, граф де ла Рош-Гюион барон де Вертэль!

Еще один, гордо подняв голову и приняв театральную позу, отвечал так:

Королем быть не могу,

Принцем не хочу.

Я – Роган!

– Как, Фонтене де Роган-Роган?!

Бедный комиссар пришел в немалое удивление: до его недоверчивого слуха доходили знатнейшие фамилии в королевстве, и он дивился одному – как этим господам удастся безошибочно произносить титулы и звания известнейших особ во Франции, и ни разу не оговориться...

По мере того как узнавал имена этих людей, с которыми имел теперь дело, он убеждался в ошибочности своего мнения о них; в наружности их, хоть они и изнурены кутежом, равно, в изысканности одежды, чаще темных цветов, было нечто благородное, доказывавшее знатность происхождения. Сомнения его исчезли, когда в числе буянов он обнаружил одного из тех, кого знал в лицо.

– О, в самом деле, – воскликнул он, – вот настоящий герцог!

– Да, герцог ла Ферте-Сенектер, маркиз де Сен-Поль и де Шатонёф, виконт де Лестранж и де Шейлан, барон де Булонь и де Прива, владелец де Сен-Марсалья, Линьи, Дангу, Преси и других земель! – отвечал сын вдовствующей герцогини.

– Так позвольте же мне доложить вам, господин герцог, – полицейский пристав низко поклонился, – что ваша матушка, герцогиня ла Ферте, сама изволила распорядиться послать за мной... и конечно, я не знал, что она звала меня для того, чтобы арестовать вас...

Громкий смех был ответом на последние слова пристава.

– Извините, милостивые государи, – продолжал комиссар, сняв, как бы в знак почтения, шляпу и машинально поворачивая ее в руках – надо соблюсти достоинство перед столь знатным обществом, – извините! Но в этом деле есть два весьма важных обстоятельства. Во-первых, преступление политическое – вследствие слышанной мной песни; во-вторых, преступление гражданское – по причине шума, производимого в такую позднюю пору! Последнее обстоятельство мы можем, впрочем, оставить и так – от него пострадали одни только простолюдины, лишились покоя и сна... а вы, по вашему званию и по вашим титулам, несравненно выше простолюдинов.

Хотел прибавить «по вашим добродетелям», но остановился вовремя и перешел к другому пункту:

– Что касается первого преступления – я говорю, господа, о той песне, которую вы при мне пели, – то оно чисто политическое, мне нельзя не признать его таковым. В ней затронуты равным образом его высокопреосвященство господин кардинал, король, его королевское высочество и королева-мать, которые столько же выше вас, сколько вы выше простолюдинов. Я могу также считать папу и иностранные державы – о них тоже упоминается в песне. В этом случае мне нельзя не исполнить возложенной на меня обязанности; я должен поступить сурово, по закону, и я это сделаю.

– Вы не смеете! – сказал гордо Марильяк.

– Смею! – с живостью возразил комиссар, сделав энергичное движение и с важностью надев на голову шляпу.

– Он не осмелится! – отозвался тот же голос.

– Осмелится! – не согласился другой.

В двух рядах, стоявших один против другого у кровати Великого Гедсона, только и слышалось: «Он осмелится! Он не осмелится!» – среди восторгов безумного веселья.

– Я исполню свой долг, господа... – снова начал пристав, оскорбляемый насмешками, – моя обязанность – установить автора этой непристойной, гадкой песни!

– «Гадкой песни»! – вскричал человек в испанском плаще, тот самый, который так вежливо ввел комиссара в комнату. – Уж не такой гадкой, как твоя физиономия, господин приказный! Песня отличная, чудесная, а в доказательство скажу, что автор ее – я сам! Я, Винсент де Вуатюр, глава поэтов, принц поэтов и поэт принцев, маркиз... де Попокампеш... и владетель незримых островов Алкивиадских! Я тоже не прочь приписывать себе титулы!

– Владетель Алкивиадских островов... пусть так, хорошо! – повторил комиссар, довольный, что располагает теперь каким-то именем автора песни. – Итак, сударь, вам должно отправляться в тюрьму, и тотчас же! В товариществе с этим негодяем, который валяется вон там, на постели, полураздетый, без всякого уважения к благородному обществу, в котором находится, как и к моему званию. Он первый запел песню – он за всех и ответит... Надо же мне нако-

нец кого-нибудь арестовать! Ну-ка, господин Геден, оденьтесь, и поедем! Без сомнения, ему поспособствует кто-нибудь из вас, милостивые государи?

В этот момент те, кто стоял по обеим сторонам кровати Гедена, повернулись к лежащему лицом, преклонили перед ним колени и сняли шляпы в знак почтения.

– Это что? – удивился пристав подобной церемонии. – Кто же вы такой?

Человек, которому он задал этот вопрос, полулежавший на кровати, встал во второй раз на ноги, оправился, пригладил рукой волосы, ниспадавшие на лицо и, опершись обеими руками на плечи герцогов ла Рошфуко и ла Ферте, приблизился к пораженному комиссару, – тот, пятясь, ожидал – с важностью отвечивал:

– Я – Гастон Орлеанский, принц королевской крови и брат короля!

Все поднялись; наступила очередь и комиссару пасть на колени перед Великим Геденом.

– Пощадите! Ваше высочество, пощадите! Глупец я, негодяй, что не тотчас узнал ваше высочество по благородным манерам... Но вы были в тени, а эта комната так слабо освещена. Простите, что осмелился прийти и мешать вам в ваших удовольствиях! Почему раньше не сказали мне вашего имени? Что мне сделать, чтобы поправить свою ошибку? Приказывайте! – Бедный полицейский служитель стоял на коленях со сложенными руками и умоляющим взором.

Гастон (а это был он) смотрел на него некоторое время взором более воспламененным от вина, чем от гнева; но комиссар мог и обмануться в значении его.

– Пощадите! – снова начал комиссар. – Быть может, вашему высочеству угодно, чтобы сюда тотчас привели дам, которые здесь находились, вероятно, для того, чтобы составить вам компанию... я слишком скоро приказал отвести их в госпиталь?

– Пусть там и остаются! – вскричали в один голос сообщники принца Гастона.

– Мне нужно другое удовлетворение! – отвечал принц. – Эй, подать вина! Это заставит вас забыть все то, что вы видели и слышали в этом доме.

– Нет нужды прибегать к такому средству, ваше высочество! Я обо всем умолчу! – воскликнул пристав, со страхом глядя на налитый через край стакан вина.

Но ни слова, ни просьбы его не действовали: его заставили выпить вина столько, что из всего общества он сделался самым пьяным. Таково было приказание Великого Гедена! И когда убедились, что полицейский чин едва держится на ногах, его отвели к не менее пьяным солдатам, все еще стоявшим вокруг стола, опоражнивая бутылки и насыщаясь остатками ужина. Тогда им настежь отворили двери, весь отряд во главе с комиссаром оказался на улице – с криками, песнями, шатанием из стороны в сторону и не меньшим шумом, чем производили те благородные буяны, которых явились урезонивать.

Что касается Гастона и его сообщников, так они, покинув дом, направились в другую сторону и спустились к мостам в поисках приключений, намереваясь кутить всю ночь напролет. Чего только не вытворяли – били в домах стекла; рвали бумажные транспаранты и фонари, которые не успели снять после праздника; выдергивали у крылец колокольчики; перемещали вывески, привешивая одну вместо другой: к воротам капуцинского монастыря, например, вывеску цирюльника, а к дверям какой-нибудь швеи или портнихи объявление о сдаче внаем меблированных комнат – «Здесь хороший приют для ночи». Так провели ночь самые знатные лица Франции. С наступлением утра все общество рассеялось: Гастон уехал в Блуа, Вуатюр отправился во Флоренцию, маркиз де Жевр возвратился на место ссылки; прочие разбрелись по домам и, усталые донельзя, бросились на постель, оставшись очень довольными этой ночью.

Глава V. Жанна ла Брабансон

На следующий день в одном из домов на улице де ла Гарп, против улицы де ла Паршеми-нери, на третьем этаже, сидел молодой человек; казалось, он был погружен в глубокое раздумье. При входе в большую комнату, которую занимал он под самой крышей дома, взору представилось множество алебастровых бюстов, поставленных в ряд на параллельных полках, ног, рук, разных частей тела, голов и туловищ из того же материала; при виде всего этого можно смело предположить, что это мастерская скульптора. Однако тут же – военные трофеи, кольчуги, шлемы с гербом и забралом, а на каждой ступени лестницы, в симметричном порядке, старинные ружья, английские мушкетоны, русские мушкеты, арабские карабины, тосканские пистолеты и французские ружья последних лет: уж не находишься ли в каком-нибудь арсенале? Правда, с другой стороны на стене женские платья, монашеские рясы, смешанные с камзолами и военными казаками...

Оставим мысль об арсенале и посмотрим еще раз на все эти бюсты, кирасы, камзолы, разные военные принадлежности, женские платья... Быть может, в этой квартире живет приемщик вещей под заклад?... Но как искусно расположены они, как живописно, небрежно... да и благородная наружность хозяина говорит в его пользу – тут не подумаешь о барышничестве и лихоимстве. Повсюду в комнате разбросаны гравюры, рисунки, эскизы, картины разных школ – и копии, и оригиналы. Картины висят на стене, приставлены к стульям, столам, просто лежат на полу; большая часть не окончена... Глядя на них, невольно скажешь про молодого обитателя этой комнаты – да это живописец!

Вот он, бледный, неподвижный, с остановившимся взглядом и легкой улыбкой на губах; в руке карандаш, сидит нагнувшись вперед на своем стуле, опершись рукой на колено перед рамкой, обтянутой полотном, забыв только что начатый эскиз. В эту минуту он, кажется, более занят своими сладостными мечтаниями, чем упражняется в высокой живописи, которой окружен.

У ног его сидела на маленькой скамейке, несколько позади, девушка и с какой-то особенной заботливостью заканчивала пришивать шнурки к большому кошельку, вышитому остроконечными блестками. Девушка эта отличалась скорее скромной и благородной наружностью, чем правильными чертами лица; брюнетка, с прекрасными, выразительными глазами, очаровательной талией, особенно изящная в принятой ею позе. Принимать грациозные положения тела вообще стало для нее привычкой, даже обязанностью. Работа, которую она теперь выполняла, в сущности нетрудная, забирала, казалось, все ее внимание, она даже гордилась ею, как делом особенно важным. Наряд ее, простой, скромный и приличный, ничего не объяснил бы тому, кто пожелал бы отгадать род ее ремесла. Платье с глухим лифом, который оканчивался маленьким капюшоном со сборками у самой шеи, опускавшимся на плечи, и немного растрепавшиеся длинные, прекрасные волосы – вот и все. Девушка далеко не была кокеткой, а между тем сама природа предназначила ей быть и милой, и очаровательной. Завершив свое дело, она повернулась к молодому живописцу – лица его не видела, картина на подставке их разделяла – и тихим, несколько протяжным голосом сказала:

– Господин Лесюёр, я сделала... вот ваш кошелек, он теперь как новый.

– Благодарю вас, Жанна, – отвечал после некоторого молчания художник – обычно он не скоро выходил из своей задумчивости.

– Что мне теперь делать?

– Что вам угодно, Жанна.

– Что мне угодно, говорите вы?

– Да-да.

– Разве вы сегодня не будете работать?

– Не буду, нет.

– Тем лучше... сегодня холодно и в мастерской плохо натоплено. Вероятно, мадам Кормье не позаботилась положить в вашу печь дров. Эта мадам Кормье прескупая... уж так экономна!

– Да-да.

– Стало быть, я теперь не нужна для вашей работы, господин Лесюёр?

– О нет.

И так все время – на вопросы, задаваемые Жанной нежным, приятным голосом, Лесюёр, недовольный, что ему мешают в его мечтаниях, отвечал совсем коротко.

Тут вошла в мастерскую пожилая, дородная женщина, невысокая, волосы аккуратно подобраны под шапочку, в руках метелка. Это и была мадам Кормье, квартирная хозяйка Лесюёра и его мать-кормилица. Особа добрая и положительная, она недавно прибыла из Нантера в Париж, чтобы помогать деду своему, столетнему старцу, присматривать за ним, а еще принять хозяйство своего сына, портного, оставшегося вдовцом с малолетними детьми. Лесюёр, рано лишившись родителей и не имея возможности жить одному, прибег к помощи почтенной мадам Кормье. Так дом на улице де ла Гарп, выходящий на улицу де ла Паршеминери, стал главным центром всех благодеяний отзывчивой Магдалины Кормье.

Когда она появилась, лицо ее выражало простодушие и откровенность, на губах играла легкая улыбка. Но при виде модели вдруг отвернулась и приняла серьезный вид; потом описала большой полукруг по комнате, останавливаясь иногда, чтобы смести пыль с бюстов и прочего, встряхнуть развешанные по стенам платья, или, как называла их, «тряпки», и вытереть пыль с картин, – только для этого как будто и навестила мастерскую. Управившись со всем, Жанну не удостоила даже взглядом, так презирала за ее ремесло, и с ласковым видом приблизилась к Лесюёру.

– Завтрак готов, сынок, не хочешь ли?

– Нет, матушка, я позднее буду есть.

– А почему не сейчас? В одни и те же часы есть хорошо, говаривали наши отцы. С некоторого времени ты перестал быть аккуратным... Не далее как вчера даже дома не обедал! А знаешь поговорку: «Черт съедает тот обед, что дома оставляют!»

– Я занят работой, ступайте! – проговорил Лесюёр нетерпеливо.

Магалина бросила беглый взгляд на эскиз, стоявший перед художником, – едва набросанный пейзаж.

– Вот как! – Она нахмурила брови. – Так, чтобы нарисовать дерево, нужно вам иметь моделью девушку? Не понимаю я этого! Почти месяц уже, как стали вы совершенно не тот, Евстахий. Прежде, бывало, завтрака с нетерпением ждали, а теперь он вас ждет. О-ох, сынок...

И снова медленными шагами описала полукруг по комнате, на ходу обметая пыль с вещей. Только на этот раз от Жанны не отворачивалась, а посмотрела на нее с досадой и презрением, прежде чем покинуть мастерскую.

Между тем вовсе не из-за бедной девушки расстроился аппетит у Лесюёра! Просто он желал остаться один, на свободе, чтобы не мешал никто.

– Вы тоже можете идти, Жанна, я не буду работать, – сказал художник своей натурщице.

– Могу идти? – Девушка обиделась. – Не могу я! Вы хотели задержать меня сегодня на все утро.

– За этот сеанс вам также будет сполна заплачено.

– Не в том дело, сударь. Отца моего не будет дома до часу... думала остаться у вас... он взял ключ от квартиры. Мне бы побыть здесь еще некоторое время; сами видите – мне некуда деваться... куда идти, если квартира заперта? Работайте, сударь! Ваша добрая мадам Кормье права – вас одолевает лень. Вы действительно переменились с тех пор, как ходите рисовать в тот монастырь... Уж не сама ли настоятельница вскружила вам голову?

Молодой человек покраснел до ушей, но Жанна этого не заметила. Взяв снова кошелек и осматривая его со всех сторон, спросила:

– Стало быть, вы можете рисовать и без натурщицы?

– Жанна, разве вы забыли, сколько раз были моделью, когда я рисовал одну картину?

– Здесь, в этой комнате? О, помню! Мне не забыть, как вы меня все заставляли держать вверх руку. Работа вчерне, но саму картину вам надо было рисовать на месте. Она на дереве, рисовалась в рамке, а рамка вделана в стену, знаю – не вы ли сами мне это сказали? Вы обошлись и без меня. Кто же служил тогда вам моделью?

Лесюёр, смущаясь все более, удерживался от ответа – боялся, что в его голосе прорвется волнение.

– Если вы изменили мне, – продолжала она, – это нехорошо, очень нехорошо! Вам ведь известно – Жанна готова руку себе отрезать и вам послать, если вам нарисовать ее надо, а меня нет, что-нибудь задержало в квартире отца.

– Знаю, Жанна, вы предобрая девушка, – произнес Лесюёр протяжно и вполголоса – все по той же причине.

Удивленная такой странной интонацией, девушка встала и взглянула на него: да у него щеки горят, чем-то сильно взволнован...

– О боже мой! – Она сложила руки крест-накрест и подняла взор. – Так это правда, вы взяли вместо меня другую?! Я не красавица, не так хороша, знаю... но ведь если надо, вы в силах сделать меня красивее... Неужели надо быть Венерой, чтобы тебя изображали на холсте? И скажу вам, что ни от кого еще не слыхала упреков – могу похвастать пред всеми красавицами! – Она помолчала чуть-чуть. – Но не будем более об этом, господин Лесюёр... вижу, вы начинаете уже сожалеть... Знайте же: если вы меня ждете, а сам король, который тоже любит живопись, предлагает мне три золотых экю, чтобы нарисовать мой мизинец – он у нас называется обыкновенно «сердечным» пальцем – так я ответила бы королю: «Нет, государь, я натурщица живописца Лесюёра, мне сегодня нужно к нему идти!»

Жанна говорила откровенно, чистосердечно; вынужденная избрать себе столь низкий род ремесла, она хранила в добром, неопытном своем сердце высокое чувство преданности и всегда была признательна молодому художнику, единственному, возможно, человеку, кто неизменно ласков с ней и почтителен.

Отец ее, родом из Брабанта, мастер лепных работ, удостоивался похвал художников за свое искусство; признавали в нем большой талант и содержатели питейных домов, где тратил он все деньги, получаемые за работу. Человек дурной нравственности, не прочь был бы пустить дочку в разврат, но Жанна оставалась до сих пор благоразумной.

Последние слова девушки подействовали на Лесюёра, и он поблагодарил за доброе расположение к нему. Видя ее нетерпение – за что-нибудь приняться, быть чем-то полезной, – попросил:

– У вас еще в руках иголка, Жанна... почините, прошу вас, мой черный камзол – разорвал немного на левом плече.

Нашел ей занятие – теперь никто не помешает ему снова погрузиться в свои думы. Жанна, очень довольная, что ей поручено исполнить дело хозяйки, возвышавшее ее в собственных глазах, встала, сняла со стены камзол и с веселым видом возвратилась к своей маленькой скамейке. Но не прошло и пяти минут, как снова принялась задавать вопросы художнику – ведь у камзола рукав насквозь прорван и на подкладке пятна крови...

– Ах, что это, что с вами приключилось? Боже мой, вы ранены в плечо?! Кем, как?.. Разве камзол можно так изорвать каким-нибудь гвоздем?

Молодой художник, упоенный воспоминаниями о своем счастье, не отвечал ни слова. Удивленная его молчанием, Жанна подумала – посмеяться хочет над ее беспокойством... оперлась рукой о пол и с любопытством нагнулась вперед, за столик, – он все сидел перед ним. О,

глаза его полузакрыты, на губах легкая улыбка... если и думает о ком, то наверняка не о ней. Потревоженный опять в своих мечтаниях, Лесюёр быстро опустил подставку с картиной, – став ниже, она отняла у любопытной девушки возможность рассмотреть внимательнее его лицо. Поняв, что это движение сделано не без причины, Жанна почувствовала какую-то неясную тоску, медленно отодвинулась назад, подперла голову руками и тоже задумалась...

Но не надолго оба погрузились в раздумья, тотчас возникла новая помеха – де Марильяк. Успев хорошо узнать характер Лесюёра, он первый пришел к нему с визитом и назвал своим новым другом. Надо подобающе принять благородного посетителя – и Лесюёру пришлось вернуться к действительности: быть может, мыслями он возносился до небес, но, увидев столь необычного гостя, поневоле спустился на землю.

Де Марильяк осведомился прежде всего о последствиях полученной Лесюёром царапины и промолвил несколько дружеских слов. Потом осмотрел мастерскую: восхищался произведениями гениальных художников; высказывал свои мнения о всех обозреваемых вещах; проявил себя большим знатоком мушкетов, древних ружей и смеялся что было сил при виде массы платьев и уборов – переворачивал их на все стороны и, потешаясь, более четверти часа примеривал то и другое. Последнее, на что обратил внимание, – Жанна ла Брабансон.

– А это что? – И бросил на Жанну снисходительный взгляд. – Вот этот предмет по крайней мере одушевленный... охотно отдал бы ему преимущество перед всеми прочими. Это также принадлежит вам, Лесюёр?

По ответу художника Марильяк угадал, с какой девушкой имеет дело. Первая мысль его, конечно, была откинуть все правила и позволить себе вольное с ней обращение... Он подошел к ней слишком близко, взял без церемоний ее руку и хотел обнять за талию. Жанна решительно оттолкнула его – с какой стати с ней обращаются подобным образом, да еще при Лесюёре! Мгновенно она почувствовала сильнейшее отвращение к этому типу; к тому же по его словам поняла, что он противник Лесюёра и виновник его раны.

– Уж не дама ли вы высокого полета? Какие мы, подумать только, недотроги! – насмешливо молвил Марильяк. – А что, разве наш приятель не платит вам за сеанс так же точно, как какой-нибудь подрядчик – своим работникам? Гм, клянусь чепчиком моей бабушки, в ваших движениях лишь одна тридцать вторая благородства... и шестнадцатая во взгляде.

– Если мне и платят, так только за то, как я выгляжу, за мою наружность, – парировала Жанна, обиженная этой беспардонностью. – Ни за какие тысячи не позволю я такому, как вы, прикасаться ко мне... тронуть хоть за волос!

– Отлично! – Марильяк несколько поутих. – Да, волосы у вас длинные, черны, роскошны... ничего не скажешь! И помнится, где-то я их недавно видел... Ах, моя милая, что уж тебе прикидываться перед тем, кто с тобой вместе веселился нынче на пирушке!.. Разве забыла ты уже все, что познала в эту ночь у...

– Вы лжете! – воскликнула ла Брабансон и гневно сверкнула на него глазами. – Это ложь! Чистая ложь!..

– Жанна, Жанна, – стал Лесюёр урезонивать девушку, – помните: вы говорите со знатным дворянином, и он у меня, под моим кровом!

– Да я ничуть не намерен козырять здесь своим дворянством! – прервал его Марильяк, рассмеявшись. – Эта красotka веселилась вчера в компании молодцов куда как важнее меня. Чего только не крутилось на этой пирушке! И песни, и шуры-муры, и обнимания, и целования... Вам также, моя милая, думаю, досталось, а? Что скажете?

– Ах, боже мой! Он лжет, ужасно лжет! – повторяла Жанна, вся покраснев и дрожа от волнения.

Взор ее, обычно томный и нежный, горел гневом, и девушка в горячке обиды и нетерпения переводила его то на Лесюёра, то на Марильяка. Пуще всего боялась она, что Лесюёр, имев-

ший о ней всегда столь положительное мнение, поверит словам этого лгуна – своего нового приятеля.

– Это девушка хорошей нравственности, – Лесюёр стал между Жанной и Марильяком, – она...

Но, заметив, что тот улыбается иронически, вдруг замолк – то ли устыдился, что защищает девушку происхождения вовсе не высокого, то ли не желал показаться человеку, привыкшему к придворным нравам, смешным по той причине, что легко верит в добродетель женщин; потом прибавил голосом уже менее твердым:

– По крайней мере я так думаю... Положим, вы действительно встретились с ней в эту ночь в обществе гуляк... но можете ли упрекнуть ее в чем-то худшем?

– Как, он верит! – вскричала Жанна со слезами на глазах и таким голосом, что даже сам Марильяк был тронут.

– О нет, память мне изменила, мои глаза ошиблись! Я не видел этой девушки! Посмотри-ка, Лесюёр, как делается она мила, когда досада и гнев волнуют ее сердце! Ну не сердись, Жаннета, я лгун, негодяй, я обидел тебя... Ну не сердись, не обижайся – я ошибся! А она ведь славная... что ты скажешь, брат Лесюёр? – И при этих словах хотел прижать Жанну к груди.

– Твои волосы так хороши! – распинался он. – Мог ли я ожидать, что увижу такие волосы... подобные им вряд ли где можно встретить! Но всякая обида требует вознаграждения... говори – чего ты от меня хочешь? Охотно отдал бы тебе мое состояние... если бы не расточил его. Что касается женитьбы – ну, об этом нечего и думать! Мое сердце было всегда свободно... и теперь оно в полном твоём распоряжении!

Говоря таким образом, Марильяк снова обхватил Жанну за талию. Вырвавшись из его рук, девушка – в сильнейшем негодовании, со слезами на глазах – приблизилась к Лесюёру и заговорила горячо и прерывисто:

– Я всю ночь провела в своей квартире, возле отца... повторяю, – этот человек лжет! – И с воспламененным взором, разгневанным лицом презрительно указала дрожащей рукой на Марильяка. – Конечно, вы не поверите моим словам, или, скорее может быть, вам все равно, верить или не верить тому, что вы слышите. Я бедная девушка, сирота, и вы столь же обо мне заботитесь, сколь швея об изломанной иголке, – вижу! Я сама только могу себя защитить и искать себе оправдание – и я это сделаю! Этот клеветник будет изобличен во лжи – не мною, нет, а кем-то другим!

Махнув рукой, Жанна скорыми шагами подошла к стене, сняла с гвоздя свой капюшон, закрыла им голову и плечи и, не сказав более ни слова, оставила мастерскую.

Все это время Лесюёр и Марильяк не проносили ни слова – дали волю девушке говорить все, что ей угодно. Марильяк собрался было остановить Жанну – напрасно: она уже исчезла за дверью... Оба взглянули друг на друга: один – с удивлением, другой – с улыбкой.

– Кажется, мадемуазель не пожелала принять мои извинения, – установил Марильяк. – А смеюсь я не потому, что доволен своей выходкой... так, по привычке. Во-первых, быть может, я и виноват... знаю, нехорошо доводить до слез правого. Во-вторых, девушка эта немного сумасбродна – люблю таких. Наконец, если вы принимаете в ней живое участие, так ни за что уж не стану волочиться за нею, ибо начало нашей дружбы следует ознаменовать поступками благородными.

Лесюёр никому еще не признавался в своей недавно возникшей любви. Но для того ли, чтобы уверить Марильяка, или по легкомыслию либо по увлеченности своей, или, наконец, в ответ на расположение, выказанное ему новым другом, он вскоре открыл ему свою тайну – стал рассказывать о той страсти, что уже более месяца поселилась в его сердце, о девушке (не называя, однако, ее имени), которую так сильно любит. Он увлекся рассказами о ней и, побуждаемый любовью, долго еще говорил бы, но сильный шум послышался на лестнице и заставил его замолчать. Дверь в мастерскую отворилась, и вошла Жанна, держа за руку человека, кото-

рого скорее тащила, чем вела, так он запыхался. Этот человек, без шапки и камзола, с грубым взглядом, с бородой и бровями, выпачканными гипсом, был ее отец. Чтобы отыскать его, она помчалась сначала на свою квартиру, потом бегала из одного кабака в другой и наконец нашла его в винном погребке на улице Монмартр, в обществе таких же гуляк, как он сам. Несмотря на сопротивление его товарищей, почти насильно увела с собой – надо как можно скорее идти с ней к живописцу Лесюёру; он и пришел, изумленный, не зная, зачем его туда ведут.

– Вот мой отец, – представила Жанна. – Клянусь моей честью, что ни о чем его не предупредила, он не знает, что здесь происходило. Будь я проклята, если лгу! Спрашивайте его!

– Позвольте, минуту... – возразил отец, – дайте мне вздохнуть, я задыхаюсь от жажды и жара...

Мадам Кормье, чтобы узнать причину такого шума, поднялась по лестнице, вошла к Лесюёру и остановилась в дверях, изумленная при виде Жанны и беспорядка, причины которого не могла себе объяснить.

– Эх, матушка, попросил бы я у вас стаканчик вина! – сказал Брабанте, увидев ее.

Толстая мадам Кормье воздела глаза и руки к небу, сошла вниз и более не показывалась.

Видя, что ему ничего не подносят, старик утолил жажду надеждой вернуться в кабак, как только выйдет от Лесюёра.

– Так зачем же меня сюда звали? – спросил он, поникнув головой.

– Спрашивайте его! – повторила Жанна, обращаясь к Лесюёру. – Спрашивайте его про меня!

– Вот в чем дело, – начал Марильяк, поклонившись Брабанте с насмешливой вежливостью, – я ошибся насчет вашей дочери и во всеуслышание прошу у нее извинения. Я признаю ее нравственность, благоразумное поведение... эта девушка мила, грациозна, привлекательна... Совершенно в моем вкусе, и я от чистого сердца предлагаю ей здесь, в присутствии всех, помириться со мной поцелуем!

– Что ж, и прекрасно, если только через поцелуй вы поладите друг с другом! – Брабанте удивился – так издавна его привели сюда, только чтобы показать ему, как целуют его дочь. – Но кто вы, господин военный, – я вижу у вас шпагу и потому так называю... Впрочем, нынче всякий носит шпагу... так уж заведено. Нельзя, право, и отличить дворянина от простолюдина, другой раз не знаешь, с кем говоришь... А прежде этого не бывало – простого так сразу видно, благородный сам себя выказывает.

– Так как вы хотите знать, кто я, – отвечал Марильяк, – то скажу вам, что меня зовут Марильяком.

– Марильяк... кавалер де Марильяк! Племянник маршала, так? О, я хорошо знал вашего дядю, сударь, правда, познакомился с ним уже в то время, когда он умер. Я, изволите знать, долго держал его голову в своих руках, потому что снимал с него слепок... Мастер Гонен мне не раз доставлял такую работу.

Гонен был когда-то известнейший в Париже шарлатан, простой народ называл его именем кардинала Ришелье.

– Здесь дело вовсе не в моем дяде! – отвечал Марильяк с некоторой важностью.

– Довольно, понимаю, – продолжал Брабанте, подходя с ласковым и почтительным видом к молодому дворянину; потом, мигнув глазом и сделав знак, что понимает, в чем дело, прибавил, понизив голос: – Речь идет о Жанне – понимаю. Она вам по вкусу? Тем лучше, господин кавалер! Гм, понимаю... Это можно устроить...

В удивлении и досаде, Марильяк сделал несколько шагов назад. А девушка, выслушав этот разговор, клонившийся к ее бесчестью, и не видя себе защиты со стороны того, на кого надеялась, не стала более предаваться отчаянию – решительная мысль блеснула у нее в голове. Совершенно спокойно она поправила волосы, привела в порядок весь свой туалет, поклонилась отцу, потом Лесюёру, сказала им «прощайте!» и вышла.

Это прощание было серьезным: несколько месяцев никто о ней ничего не слышал и не знал, где она.

Глава VI. Церковный образ

Но что же было предметом тех мечтаний, которые вчера на Новом мосту, среди толпы народа, а сегодня возле Жанны, в мастерской занимали живописца Лесюёра, такого задумчивого, по словам мадам Кормье, уже почти месяц?

В начале нашего повествования говорилось, что Людовик XIII во время первого своего посещения Благовещенского монастыря пожертвовал большую сумму на увеличение и улучшение часовни Святой Марии при монастыре.

По окончании работ настоятельница монастыря Елена-Анжелика Люилье намеревалась поручить Симону Вуэ, первому живописцу короля, написать образ Пресвятой Богородицы для украшения монастырской церкви. Но, несмотря на новый способ скорого рисования, который он применял в своих произведениях живописи, Вуэ, обремененный работами в Сен-Жермен и Фонтенбло, имея под своим надзором школу живописи, давая уроки рисования сухими красками почти всему двору, с тех пор как сам король стал брать у него уроки, вынужден был отказывать настоятельнице; он объявил, что эту работу могут выполнить вместо него знаменитые его ученики – к числу их он относил Миньяра, Лебрена и Лесюёра.

Миньяр путешествовал в это время по Италии; Лебрен, двумя годами моложе Лесюёра, хотя и подавал блестящие надежды, не был еще в силах привести их в исполнение; из этих трех учеников выбрали Лесюёра, к великому удовольствию Елены-Анжелики Люилье, приходившейся ему дальней родственницей.

Согласившись с мнением Вуэ, решили писать образ Успения Пресвятой Богородицы – сюжет этот так выиграет от массы света, падающего с высоты купола. Лесюёр набросал эскиз образа, представил его на рассмотрение своего учителя, потом настоятельницы и всего совета монахинь, собравшегося по этому случаю в приемном зале монастыря. Все были в восхищении; не только они, но и монастырские пансионеры с похвалой повторяли имя художника и не сомневались в его таланте, особенно когда узнали, что он молод и красив.

И вот Лесюёр введен в монашескую обитель; каждый день аккуратно приходил он туда в полдень, именно в тот час, когда монахини идут в столовую обедать, и запирался в часовне, обставляя себя всеми принадлежностями живописца. Тут он делал свои измерения, изучал эффекты перспективы и думал о трудностях работы, ему предстоявшей. Сердце его билось лишь для славы; только творческие идеи заставляли его то краснеть, то бледнеть; если он к чему-то стремился, чего-то добивался, так славы, известности... Но ему предстоял труд, большой труд, – воплотить на холсте живой образ, созданный мыслью, воображением, – он смотрел на него глазами своей души; передать эту мысль так, чтобы она всех поражала своей гениальностью! Для этого он, будьте уверены, отдаст и жизнь свою, если понадобится. И на какую же награду надеялся он? Ему ничего более не надо как имя – имя известное, которое прожило бы несколько столетий; произносилось бы в мастерских художников, во дворцах, богатых палатах – везде, где только есть живопись, где слово о художнике имеет надлежащее значение. Вот каким образом он представлял себе славу – свой кумир! Все прочие страсти, даже сама любовь, оставались ему чуждыми.

Однажды, рисуя, по обыкновению, один на поставленных подмостках, услышал он под собой крики и хохот. Выглянув в одно из окон в куполе часовни, увидел на монастырском дворе молоденьких пансионеров: они резвились, бегали, играли, пользуясь временем, отведенным им для отдыха после учения. Желая лучше все рассмотреть, он открыл форточку в нижней части окна и стал незаметно наблюдать: играют, резвятся... среди них есть хорошенькие; но и те, кто менее наделен от природы красотой, интересны – какой у них свежий и нежный цвет лица... Среди всех только две показались Лесюёру достойными названия красавиц: обе одних лет, блондинки, у них белая кожа и нежный румянец – очаровательны! С вдохновением художника

он их рассматривал, и чем дольше, тем более приходил в восторг от их поз и движений. Но вскоре одна из этих двух, лишь одна, обратила на себя все его внимание, особенно как-то ему понравилась, хотя поначалу он как будто не видел никакой разницы между той и другой – обе такие прелестные... Но вот теперь на одну смотрел – и чувствовал себя счастливым.

«Да! – думал Лесюёр, приложив к голове руку. – Она теперь спокойна, сердце ее чуждо всяких страстей. Но придет пора – она полюбит, сильно полюбит, в этом я уверен. О, будет ли тот, кого полюбит, чувствовать свое счастье?.. Без сомнения, ее не предназначают быть монахиней, она только воспитывается в монастыре и по окончании курса учения выйдет в свет. Как муж будет гордиться ею – вот счастливец... С какой радостью придет к ней после работы, оставив краски и кисти в мастерской...» Тут он очнулся и нить его мечтаний прервалась, – сам того не замечая, стал представлять себя мужем хорошенькой монашески. Через несколько минут снова глянул во двор – уже никого... Колокольчик прозвонил пансионеркам, и они вернулись к своим занятиям, а Лесюёр так замечтался, что не слышал звонка. Успокоившись в своих чувствах, снова принялся за работу – в этот день она мало продвинулась вперед.

На следующий день, равно как и всю неделю, Лесюёр был особенно внимателен к звонку, возвещавшему пансионеркам об отдыхе после учения. А вечером возвращался в свою уютную квартиру и садился ужинать вместе с Магдалиной Кормье; мать-кормилица, видя его рассеянность, задумчивость и озабоченный вид, очень этим огорчалась. Не только она, даже соседки, приходившие к ней потолковать о том о сем, заметили перемену в молодом художнике. Да, Лесюёр стал не тот – сердце его беспокойно, мысли заняты одной мечтой! Прежде он равнодушно смотрел на женщин, для него существовали лишь чистые, идеальные создания, нарисованные детским воображением; теперь их место заняла реальная девушка, и все грезы слились для него в одну... Несмотря, однако, на свою рассеянность и постоянные отвлечения, когда он наблюдал прогулку пансионерок по монастырскому двору, работа продвигалась: овал и верхняя часть образа, представляющая небо, окончены; в самом образе оставались незавершенными только лицо и руки Святой Девы Марии.

Вуэ пришел к Лесюёру в часовню и остался чрезвычайно доволен его работой: восхищался расположением теней и света, особенно отделкой главных частей образа. После Вуэ посетила Лесюёра настоятельница Елена-Анжелика Люилье и осыпала похвалами художника, его талант. Он объявил ей тогда, что для успешного окончания работы ему непременно нужно иметь возле себя натурщицу, с тем чтобы писать лицо и руки.

– Если кисть для раскрашивания телесным цветом уже приготовлена, стало быть, пора рисовать с натуры, – пояснил он.

Вот и хотел поговорить как раз с настоятельницей – каким образом ввести в монастырь натурщицу.

Но ей прежде всего надо знать, какого рода женщиной располагают таким образом господа живописцы. Лесюёр ясно ей растолковал: это для него возможно – за деньги всегда достает одушевленную модель. Почтенная монахиня с изумлением отступила, закрыла лицо обеими руками, зажмурив глаза, словно заранее испугалась, что видит уже ее перед собой... После этой пантомимы объявила:

– Никогда такой женщине не будет позволено войти в ворота нашего монастыря, а тем более в нашу монастырскую церковь! Боже сохрани!

– Но как же, сударыня, – возразил Лесюёр, смущенный препятствием, о котором вовсе не подумал, – великие художники иначе и не рисовали. Из всех живописцев только Филиппо-Липпи Флорентиец имел то преимущество, что взял натурщицей монахиню.

– Монахиню... девушку, посвятившую себя Богу! – воскликнула настоятельница. – Да это просто скандал, соблазн, искушение... то, что вы говорите! – И задумалась.

Наконец чело ее прояснилось и снова стала она доброй и ласковой. Внимательно на него посмотрела и, покачав головой, успокоила:

– Впрочем, племянник мой, – любила так его называть, хотя и не была с ним в близком родстве, – мы подумаем завтра о том, как все это устроить.

В тот же вечер состоялось в монастыре большое совещание. А на следующий день, когда Лесюёр явился в монастырь, он увидел у самых дверей идущую навстречу настоятельницу в сопровождении привратницы и двух сестер, наблюдающих за монастырским порядком. Почтительно им поклонился и хотел было пройти в часовню – место своей работы, – но Елена-Анжелика Люилье остановила его словами:

– Идите, племянник мой, за нами!

Сердце молодого художника забилося – почему нарушаются так монастырские обычаи... Забилося оно еще сильнее, когда, выйдя вслед за всеми во двор, очутился он среди двадцати или более молодых девушек: все хорошенькие, милые, с открытыми головами, в белых простых, со вкусом сшитых платьях, не имеющих ничего общего с монастырскими одеяниями; отличались девушки только цветом поясов или шарфов – розовым, голубым, светло-желтым...

Отдельно и группами, обнявшись, прогуливались они по густой липовой аллее во дворе. Присутствие незнакомца нисколько, кажется, их не смутило; некоторые обернулись, чтобы посмотреть на него. Может быть, и не знали о его приходе, так можно подумать... но вдруг все затихли и прекратили свои оживленные разговоры, устремив на него любопытные, вопрошительные взгляды. Лесюёр еще не удостоверился, находится ли *она* в этой милой группе, так как из скромности и по соображениям приличия почти тотчас, войдя во двор, потупил глаза – так иногда случайность сильно действует на благородное сердце.

– Теперь объяснимся, – начала тихим голосом настоятельница, подходя к Лесюёру, – да поднимите же голову, зачем упирать взор в землю, племянник мой, – вы для того сюда и приведены, чтобы смотреть.

Лесюёр думал, что все это ему видится во сне, и не знал, как истолковать обращение с ним настоятельницы. Однако послушался, поднял голову, посмотрел, и первое, что увидел, – она! Взгляд ее тоже был устремлен на него... оба вдруг покраснели и мгновенно отвернулись в сторону: он – чтобы промолвить своей родственнице несколько пустых, несвязных слов; она – чтобы позвать одну из своих подруг, которая прошла мимо и не слышала ее.

– Вижу ваше удивление, – продолжала настоятельница, – сейчас все вам расскажу. Помните наш вчерашний разговор? Я передала его совету монахинь, специально для того собранному; все было моего мнения. Нам невозможно допустить, хотя бы на день, на час, присутствие в нашей монастырской общине женщины, чье поведение порочно и она не хочет исправиться в своих заблуждениях, а придет к нам, чтобы показать свое бесстыдное ремесло... Фи, натурщица – как это гадко! Нет, этого допустить невозможно! Есть другое средство – вынуть из рамы образ и окончить его у себя на квартире. Но рисование этого образа – дело весьма нелегкое, говорил мне Симон Вуэ, и работу может сильно попортить неодинаковое расположение света. Кроме того, в середине сентября его величество король, благодетель наш, вместе с архиепископом будет присутствовать на освящении часовни. Уже последние числа августа, медлить нельзя.

Итак, племянник мой, запрещая к нам вход вашей модели, не находя также возможным по нашим правилам допустить, чтобы какая-нибудь из нас (а у нас есть и хорошенькие) встала перед вами статуей, которую вы могли бы копировать, как было с какой-то итальянской монахиней, мы решились прибегнуть к средству, которое устранит оба препятствия. Наши молоденькие пансионерки, хотя и находятся под нашим надзором и попечением, принадлежат свету. По окончании курса учения они оставят монастырские стены и снова вернутся в свет. Они выдержат, нисколько тем не согрешив, взгляд мужчины, ибо все, если только нет у них противоположных призваний, выйдут замуж. Вы видите их перед собой, по крайней мере тех, которые по красоте своей достойны внимания живописца, отыскивающего себе модель для

картины особенной важности. Находите ли вы в их числе такую? Всматривайтесь, выбирайте, любезный племянник!

Молодой художник не поверил сначала тому, что слышал; но через несколько минут стал угадывать намерения родственницы и причину такого благорасположения к нему. Но он боялся обмануться, надо убедиться в своих предположениях...

– Я вижу здесь богатство выбора, – молвил он с волнением в сердце, – все они милы, прелестны...

– Берегитесь! – сказала ему вполголоса настоятельница, улыбнувшись и подняв палец в знак некоторой угрозы. – Эта лесть вовсе не к месту. Но я уверена в вашей скромности и благоразумии.

Беседуя таким образом, они подошли к пансионеркам, стоявшим в группе, от которых немного отделились во время разговора. Несколько раз настоятельница прошлась с Лесюёром взад и вперед по липовой аллее, где прогуливались эти свеженькие, молоденькие девушки. Теперь они стали уже менее застенчивыми и, как бы привыкнув к присутствию незнакомца, разглядывали его игривыми глазками, смеясь над ним и делая в его адрес острые замечания.

– Ну что, племянник, нашли ли вы наконец? – спросила Елена-Анжелика Люилье.

– Да, – отвечал Лесюёр тихим, дрожащим голосом и, не решаясь указать, куда устремлены его взоры, продолжал: – Вот эта молоденькая девица... у нее пояс и лента на голове голубого цвета; она стоит – видите? – вон там, направо, у третьего от нас дерева.

У этого дерева стояли две пансионерки, одетые в одинаковый цвет. Настоятельница могла ошибиться в выборе художника и действительно ошиблась.

– Это мадемуазель Этьенетт де Брессий, – сказала она.

И это имя глубоко запало в сердце молодого художника.

– Да, правда, – продолжала она, – эта девица щедро наделена от природы всем тем, что может называться красотой. С нее можно не только копировать... даже срисовать... Посмотрите – какой стан, какие черные волосы...

– «Черные волосы»? О нет, нет, сударыня, – воскликнул Лесюёр, перебивая ее с нетерпением, – я указал не на нее, а на другую! На ту, которая стоит теперь прислонившись к дереву и закрыла глаза платком.

– А, так это Луиза де ла Порт! – Настоятельница пришла в некоторое замешательство: дело в том, что в это самое время подруга мадемуазель ла Файетт, фаворитки короля, как раз старалась удержаться от рвущегося наружу смеха, вызванного шутивным замечанием одной из подруг; настоятельница сгорела бы со стыда, если бы Лесюёр это заметил. Но Лесюёр не помнил себя от восторга, оба имени – Луиза и Этьенетт не переставали звучать во внутреннем его слухе. Он никак не мог забыть имени, произнесенного первым, сразу восприняв его как имя той, которую полюбил. Впоследствии он беспрестанно его произносил, такое оно оставило в нем впечатление, и в сердце его и в сознании пансионерка Благовещенского монастыря так и осталась Этьеннет-Луизой де ла Порт.

– Ваш выбор мне кажется странным, – снова заговорила настоятельница, – Луиза – блондинка, у нее очень веселый характер, нежное, белое лицо с легким румянцем. Вы на это не обратили, вероятно, внимания?

– Мы не копируем модель в точности, – возразил художник. – Нам нужен только общий вид модели, выражение лица, грациозность поз, и от нас зависит сделать лицо и волосы темнее или светлее.

– Ну довольно, любезный друг, где уж мне понимать эти дела так, как вы. Ступайте теперь работать. Сестрица, проводите его к часовне! – обратилась она к сестре-привратнице.

Как только Лесюёр удалился, шумный, веселый лепет послышался со всех сторон, как бы в противоположность тому суровому виду, который настоятельница старалась принять, хотя и

против своего обыкновения. Если бы пансионерок Благовещенского монастыря спросили, кто же был причиной столь единодушной веселости, они затруднились бы ответить.

Через час Луиза де ла Порт в сопровождении настоятельницы была уже перед молодым живописцем, со своей всегдашней улыбкой и добродушным выражением лица. Целых восемь дней Лесюёр мог рассматривать вволю черты той, которая так его обворожила. Молчаливый и внимательный, он, глядя попеременно то на нее, то на свою работу, был в восторге и от любви, и от работы. Его печалила только одна мысль – что все слишком быстро продвигается. Елена-Анжелика Люилье, присутствовавшая по обязанности на всех сеансах своей воспитанницы, нисколько не разделяла этого его мнения.

Луиза принимала тот жар, что постоянно был замечен на лице молодого человека, за особое его старание окончить скорее и лучше работу. Она невольно сострадала живописцу, видя трудности, так счастливо им преодолеваемые, и мысленно благодарила его за то, что из всех подруг он выбрал именно ее; но мысль о любви не приходила ей в голову. Привыкнув его видеть, она не краснела, когда взоры их встречались, и казалось, охотно готова была доказать, что не стесняется перед ним.

Однажды Лесюёр, желая, по обыкновению, попросить Луизу несколько переменить положение рук, едва мог пробормотать несколько слов – в таком он был смущении; не стараясь даже окончить начатой фразы, он вдруг остановился, встал со скамьи и подошел к Луизе, чтобы изменить ее позу. Для этого он взял ее руку, с наивностью ему протянутую; собственная его рука дрожала; он вернулся на свое место, потеряв способность владеть кистью, сел, опустил голову и долго смешивал краски, растирая кистью то одну, то другую.

Вдруг девушка по какому-то внезапному вдохновению поняла все и почувствовала волнение – сильное, могущественное, – какого до сих пор не знало ее девственное сердце... Может быть, это был первый проблеск любви... С этих пор Луиза сделалась другой: взор живописца уже не смущал ее, она занята была одной мыслью, как и он, – глядя на картину, думала только о художнике. Теперь с меньшей доверенностью обращала к нему робкие взгляды, и Лесюёр уже по-другому всматривался в ее черты. Но сердца их бились тайной радостью, которой они не в состоянии оказались понять. В их наружности, выражении лиц произошла перемена – прежде они ее не замечали.

Наконец, несмотря на свою умышленную медлительность, Лесюёр стал завершать свою работу, а с ней заканчивались и сеансы его прекрасной модели. Наступил последний день работы; вследствие этого-то и произошла в мастерской художника сцена между Марильяком, Жанной и ее отцом. Читатель помнит, в какой задумчивости находился все утро этого дня молодой художник.

Рассмотрев работу Лесюёра и найдя ее превосходно выполненной, Елена-Анжелика Люилье осыпала живописца похвалами, сказав ему такой комплимент:

– Надеюсь, что профессор Вуэ тоже не откажется похвалить вас за это!

Лесюёр без внимания слушал слова настоятельницы, занятый мыслью о разлуке: ему предстоит расстаться с Луизой, быть далеко от нее! Какой предлог может снова их сблизить? Была ли у него надежда вновь когда-нибудь с ней увидеться?

Из всех приветствий и поздравлений настоятельницы по поводу отлично выполненной работы Лесюёр, несмотря на свою глубокую рассеянность, расслышал только последние слова, с которыми она отпускала его:

– Ну, любезный племянник мой, надеюсь, мы увидимся в день освящения нашей часовни.

Спустя некоторое время, когда Лесюёр присутствовал на торжественном освящении часовни, он вдоволь насмотрелся на короля, королеву, государственных сановников и на хорошеньких придворных дам; но между этими последними напрасно старался отыскать Луизу де ла Порт: прошло уже три дня, как Луиза оставила Благовещенский монастырь.

Глава VII. Шпионы

За несколько дней до церемонии освящения часовни человек, скрывающий свой придворный костюм под широким плащом и надвинувший на глаза шляпу с широкими полями, выходил из замка Сен-Жермен-ан-Ле. Еще не рассветало; пасмурное небо покрылось тучами, из-за темноты едва можно идти смелым шагом по дороге. Сопровождаемый слугой, вооруженным толстой дубиной, которую держал, казалось, не впервые, этот человек направлялся к Каррьерам, небольшой деревне, построенной бедными крестьянами у подошвы скал, почти в самой земле, так что с высоты королевских башен ее нельзя заметить. Прибыв туда, он приказал слуге остаться на месте и в ожидании его караулить; а сам пошел на вершину холма, что в ста шагах от деревни.

Другой человек, еще во цвете лет, крепкого сложения, с надменным взглядом, не имеющим, впрочем, в себе ничего особенного, закрыв свою полуплешистую, с заживающими рубцами голову одной из низеньких шляп, обтянутых железом, – такие в то время назывались *hourguignottes* (то есть железными шишаками), – выбрал, похоже, целью своей ранней прогулки тот же холм: взбирался на него с противоположной стороны, оставив позади себя пажа со своей лошадей. Казакин из буйволового кожи, широкие походные шаровары, большие сапоги со шпорами и пояс, на котором, кроме маленького кинжала и пары пистолетов, висели фонарь, дорожный письменный прибор и фляжка с вином, – таков костюм второго незнакомца. Сверху всего на нем был накинут широкий итальянского покроя плащ, который придавал ему вид скорее какого-нибудь приезжего иностранного купца, чем странствующего рыцаря.

Встретившись в темноте на верху холма, эти двое задали друг другу вопросы.

– Любезный, как пройти к Сен-Жермен? – спросил один.

– Как пройти к Кателе? – осведомился другой.

И тотчас, подойдя ближе друг к другу, они молча обменялись бумагами и каждый стал читать при свете фонаря, зажженного человеком, приехавшим к холму на лошади. Они только теперь поклонились друг другу – вежливо и почтительно.

– Как поживает его величество? – спросил приехавший на лошади.

– Думаю, его высокопреосвященство останется мною доволен! – отвечал пришедший пешком.

По началу этого разговора можно было бы подумать, что эти два человека – главнейшие в государстве лица, если бы пришедший пешком, наклонясь к своему товарищу, не прибавил с видом глубокой таинственности:

– Я открыл тайну: король влюблен!

– Какая новость, – отвечал другой, – мы знаем это.

– Только не в ла Файетт...

– И это знаем! В молоденькую пансионерку, по имени Луиза де ла Порт, – прибавил приехавший с пажом.

При этих словах пришедший со слугой отступил на три шага, как бы не веря тому, что слышит.

– Вы это знаете! – воскликнул он. – Вам это известно! Да это просто чудо! Король, кроме меня, никому об этом не говорил. Может быть, или король, или я во время сна открыли эту тайну... иначе быть не может!

– Король набожен... а такая любовь – грех; исповедь короля...

– Как, неужели отец Гондран, духовник его величества...

– Молчите! Что вам за дело, откуда мы это узнали? Довольно того, что знаем, и все!

В это время послышался легкий шум в кустарниках, растущих внизу холма. Внимательно прислушиваясь, оба в одно и то же время засунули руку под плащи и вынули из-под них писто-

леты, которые тотчас зарядили. Шум прекратился; однако, несмотря на это, господин оставленного в деревне Каррьеры слуги, с трудом успокоившись, вынул из-за пояса охотничий свисток и громко свистнул. Слуга тотчас прибежал на звук – молодой парень с глупым выражением лица, но плотный, широкоплечий, дюжий.

– Мы слышали в этой вот стороне – кто-то там сейчас шевелился, – сказал ему хозяин, указывая на один из скатов холма, – ступай, ищи!

– Если это какой-нибудь любопытный наблюдатель, – прибавил другой, – и он на таком от нас расстоянии, что мог рассмотреть нас при свете фонаря, – выколи ему тотчас глаза; если же найдешь его на расстоянии еще более близком, так что он мог даже слышать наш разговор, – убей его тут же, на месте!

Слуга, опираясь на свою толстую палку, оправленную в железо, спустился скорыми шагами в указанном направлении, путаясь ногами в длинной траве и кустах, растущих на скате холма; и через несколько минут пропал из виду.

– Теперь, – снова начал суровый собеседник господина со свистком, – благоразумие требует, чтобы мы говорили *таинственным языком*. Слушайте меня! Вы, вероятно, знаете, сколько беспокойств причинила *оставленная*² *оракулу*³; она могла причинить ему еще большие через сближение *Цефала*⁴ с *Прокридой*⁵, о котором старалась из глубины своего монастырского уединения. Однако *Цефал* стал к ней далеко не тот, что прежде; он уже ее не любит; если и виделся с ней часто, то причиной тому была *пансионерка*⁶. Этой последней пришлось оставить *убежище*⁷ – она вышла из него! Отныне *оставленная* действительно будет *покинутой*.

Господин, говоривший это, даже подпрыгнул, как бы от радости, объявляя своему товарищу, что Луизы больше нет в монастыре.

– Но каким же образом вы достигли этого?

– Нет ничего легче. У *пансионерки* была в Туре, в Турени, родственница, баронесса, имя которой, не знаю каким образом, внесено в росписи сберегательной кассы по выдачам. Мы настроили ей об этом в полной уверенности, что она немедленно приедет в Париж хлопотать о себе, что действительно и случилось.

– Так вы даже знаете и родство Луизы... вот как! – сказал свистнувший своему слуге господин, приходя все в большее удивление.

Собеседник его, делая вид, что не замечает этого удивления, продолжал:

– Пансион был выдан ей вдвойне... втройне даже, с тем условием, чтобы она непременно отвезла девушку в Тур и там выдала ее замуж как можно скорее.

– И она согласилась?

– Охотно. Теперь вот что вам остается делать. Если *Цефал* серьезно влюблен в *пансионерку*, то он, кроме вас, никому не поручит переговорить с родственницей о ее возвращении. Это будет так, не сомневайтесь, вы будете посредником. Но вам надо будет только делать вид, что вы действуете в пользу короля. Между тем вы ничего не делаете, понимаете?

– Но...

– «Но», «но»... что за «но»! Черт возьми, такова воля *Оракула*, вот и все!

– Я ее очень почитаю, – отвечал господин парня, посланного на розыски; но, испугавшись той роли, которую хотели дать ему, прибавил: – Предшественник мой Буазенваль был выгнан из Франции за то, что слишком слушался *Оракула* относительно любви *Цефала* к *оставленной*.

² Ла Файетт.

³ Кардинал Ришелье.

⁴ Король.

⁵ Королева.

⁶ Луиза де ла Порт.

⁷ Благовещенский монастырь.

– Ну так что ж! У вас будет больше ловкости, чем у Буазенваля. Или, лучше сказать, никакой ловкости, никаких уловок вам тут не нужно. *Пансионерка* скоро будет забыта! Может быть, *Цефал* снова захочет сблизиться с *Авророй*⁸; но тогда синьор *Плутон* должен будет смотреть... да, и смотреть... и он это сделает, не правда ли?

Житель замка Сен-Жермен-ан-Ле (или, как мы его прежде называли, господин со свистком) поклонился на этот раз с большей, чем прежде, почтительностью. Ибо синьор *Плутон* был не кто иной, как он сам – Эдмонд-Франциск де ла Шене, дворянин и главный камердинер его величества короля Людовика XIII. Что касается его собеседника, то его звали Жак Сируа, и он был отставной стрелок гвардейского полка, человек прямодушный, ни к чему не пристрастный и весьма осторожный во всех своих действиях.

Ришелье был в это время занят осадой крепости Кателе, оставшейся в руках испанцев. Отсюда он, вечно беспокойный, могущественный гений, издавал свои повеления Франции, смотрел за ней, не упуская из виду и любовных интриг своего монарха. Выгнав испанцев из крепости, Ришелье, столько же стараясь истреблять своих врагов, сколько фаворитов и фавориток слабодушного Людовика XIII, считал своим неперенным долгом прекратить дальнейшие любовные интриги короля с Луизой де ла Порт. Вот почему теперь Жак Сируа, сопровождаемый пажом, поехал к Каррьерам.

Уже начало рассветать; два собеседника, оставшись недовольны друг другом, но не показывая этого, хотели разойтись, когда вдруг услышали под собой, у подошвы холма, задыхающийся, прерывистый крик. Взявшись за пистолеты, они стали прислушиваться: крик раздавался сильнее, явственнее, и по его двоякому отголоску казалось – выражал страдание и мольбу о пощаде...

– Ваша борзая собака поймала, вероятно, какую-нибудь дикую свинью, – заметил Сируа, – и кажется, она порядком дерет-таки с нее шкуру!

– О, Жак у меня лихой малый, он исправен в своих обязанностях, – отвечал ла Шене, – ловок, расторопен и сколь легок на ноги, столь тяжел на руку. Боюсь только, чтобы он не обманулся – не принял одного за другого. Жак еще молод и несколько сумасброден.

– Черт возьми, синьор *Плутон*, в нашем положении нам нечего беспокоиться о том, кого там колотит Жак. Мы приказали ему идти к подошве холма поохотиться... ну, он и охотится, конечно, за королевской дичью, понимаете – за *королевской дичью*! Я радуюсь тому, как удачно он справляется со своей добычей, и от души аплодирую побоям, которые наносит, даже моему родному брату!

Сируа и ла Шене стали снова вслушиваться, но никакого шума уже не было. Через несколько минут молодой слуга с палкой в левой руке возвратился к ним, махая правой рукой, измазанной кровью.

– Ну что, Жак! – спросил его господин. – Что такое случилось? Говори... говори вполголоса!

И Жак, понизив голос, стал рассказывать: позади кустарника увидел человека, который на четвереньках карабкался на холм, без сомнения, чтобы быть ближе к ним; заметив его, Жака, он опрометью бросился вниз с холма и пустился бежать; он, Жак, ловко пустил ему палкой в ноги и наконец, дав ему несколько тумаков, так как тот ужасно кричал, считал благоразумным заткнуть ему одной рукой рот, в то время как другой искал свою палку, которой ударил этого человека по ногам.

– Но в это самое время, – прибавил Жак все тем же тихим голосом, – этот каналья укусил меня!..

– У него, видно, хороши зубы, – засмеялся Сируа.

⁸ Мадемуазель д'Отфор.

– Да, ничего! – Слуга сорвал пучок травы и приложил к руке, чтобы унять лившуюся кровь. – Зубы острые, черт его возьми!

– И ты его убил! – воскликнул с некоторым волнением ла Шене.

– Да еще как! – отвечал Жан с видом совершенного спокойствия.

– И хорошо сделал, мой любезный! – Сируа похлопал Жана по плечу. – Ты в точности исполняешь данные тебе приказания... молодец! Эх, вам-то что до этого, синьор *Плутон*? Разве лучше было бы, если бы кто-нибудь нас подслушал?

– А то, – возразил ла Шене, продолжая обнаруживать беспокойство и устремив вопросительный взгляд на своего слугу, – что сегодня назначена исповедь прислуг замка, и я боюсь, чтобы...

– Э, полноте, – махнул рукой Сируа, – Жан забудет об этом проступке... и скажет о нем на общей исповеди. Зачем ему говорить об этом теперь – на малой исповеди? Нет никакой нужды. Однако нам время уходить отсюда, уже начинается день.

Ла Шене, первый камердинер его величества, возвратился в сопровождении убийцы в замок Сен-Жермен-ан-Ле.

Жак Сируа отправился к тому месту, где оставил своего пажа с лошадьё; приближаясь к дереву, у которого должен находиться паж, он увидел только двух привязанных к дереву лошадей – пажа не было.

Бранясь, в гневе выходя из себя, он ждал несколько минут возвращения пажа, но тот не являлся. Между тем время шло, настал день, а Сируа, казалось, вовсе не заботился о том, что жители замка узнают его по лицу. Наконец, чтобы отыскать своего пажа, он отправился далее в долину и увидел лежащего человека... у него тотчас появилось подозрение – поступок Жана мгновенно пришел на ум. Он подошел ближе: да, это его паж, мертвый, с разбитой головой...

Сируа не имел особенно чувствительного сердца; можно сказать, что за всю жизнь никто еще не упрекнул его в этой слабости. Однако этого молодого пажа, распростертого на земле, с открытой головой, окровавленными волосами, мать отдала под его покровительство, с тем чтобы он поступил на военную службу или служил в доме какого-нибудь знатного лица; он, Сируа, определил его на службу; вот он убит за то, что сопровождал кардинала от Катене в Сен-Жермен. Убит злодейским образом! А он, Жак Сируа, еще хвалил и поздравлял убийцу... и радовался, что его приказание удачно исполнено...

Все это сильно опечалило Жака Сируа; скрестив руки и поникнув головой, стоял он некоторое время в раздумье перед трупом и говорил про себя со вздохом: «Может быть, он беспокоился обо мне... взбирался украдкой на холм, чтобы в случае нужды подать мне помощь, – ведь он был не трус и любил меня! Впрочем, он и должен был любить меня. Будь проклят его убийца! Будь проклят тот час, когда я приказал слуге убить подслушавшего мой разговор с ла Шене! Но ла Шене прав: за такими сумасбродами надо смотреть в оба и не слишком им доверять! Бедный, несчастный мой паж! Уж не встанешь ты, не сядешь на лошадь, не пойдешь со мной! Поеду я один – один, без тебя... И что я скажу кардиналу? Наверно, потребует у меня пажа назад... что я скажу ему? Ах, боже мой, что скажу я его матери, которой был он единственным сыном?!»

Слезы, столь редко показывавшиеся на глазах Сируа, готовы были навернуться, как вдруг пришла ему в голову другая мысль, несколько встревожившая его: «Моего пажа могут здесь очень легко узнать по лицу, а из-за этого, пожалуй, проведают о моей таинственной поездке сюда!» И, потеряв чувство сострадания, имея свои обязанности перед кардиналом, он, осмотревшись вокруг, взял пистолет и выстрелом совершенно изуродовал лицо мертвеца.

Но для безопасности Сируа как осмотрительного и осторожного переговорщика этого было недостаточно. Паж мог иметь при себе бумаги, которые обнаружили бы тайну Сируа. Он повернул покойника, стал его обыскивать и нашел в подкладке камзола *инструкцию*, написанную вместо букв цифрами, – но он понимал их значение. Прочитав бумагу, Сируа тяжело

вздыхнул и с яростью посмотрел на труп. Произнес над ним несколько бранных слов, с гневом оттолкнул того от себя, и труп свалился в ров...

По приказанию кардинала паж сопровождал Сируа, чтобы служить ему открыто, а втайне присматривать за ним: Ришелье, чтобы убедиться в верности своих служителей, не пренебрегал никакими средствами. Жак Сируа принадлежал к его полиции, а паж – к его контрполиции. Таков был в то время порядок!

Услышав выстрел, крестьяне вышли из своих подземных жилищ; но прежде чем они успели дойти до места, где лежал труп, Сируа поднял уже за собой густую пыль столбом: он возвращался в Кателе.

Обратимся теперь к ла Шене, собеседнику Жака Сируа. Ла Шене после долгих размышлений вопреки желанию кардинала счел долгом исполнить волю короля, который поручил ему отвезти Луизе в подарок драгоценный женский головной убор. Поставленный в затруднительное положение, чьей воле повиноваться, того или другого, он пришел в магазин скорняжного мастера Франциска ле Мутье на улице Сен-Дени, – в его доме жила баронесса де Сен-Сернен с племянницей Луизой де ла Порт. Они собирались куда-то ехать, большая дорожная карета стояла во дворе. Слуга баронессы суетился возле экипажа, укладывая чемоданы. Баронесса в сопровождении племянницы уже садилась в карету – она отправлялась в Турень.

Первый камердинер его величества досадовал на себя, что не приехал часом позже – тогда мог бы вывернуться из затруднительного положения. Однако смелость не замедлила прийти к нему на помощь. Когда он подошел к баронессе и стал с ней разговаривать наедине, она выказала ему в своих ответах столько морали, добродетели, набожности и религиозности, – он подумал даже, что нашел средство выпутаться; в самом деле, не слишком ли щекотливое поручение доверил ему король...

Восхваляя перед баронессой достоинства Луизы де ла Порт, он незаметным образом, разными намеками дал ей понять, что его величество испытывает некие чувства к ее племяннице. Госпожа де Сен-Сернен не хотела сначала этому верить, несколько смутилась и попросила ла Шене объясниться с ней прямо, без обиняков. Ла Шене это исполнил. Когда он произнес: «Да, сударыня, король влюблен в мадемуазель Луизу де ла Порт!», баронесса встала и, встревоженная, покинула комнату, как будто дело шло о бегстве ее вместе с племянницей далеко за границы Франции. На самом деле она вышла для того, чтобы отменить свою поездку и приказать внести опять чемоданы в квартиру.

Глава VIII. Спектакль в Кардинальском дворце

Не имея известий о Луизе, Лесюёр думал, что она уехала в глушь, куда-нибудь в провинцию. К этому присоединилось другое огорчение: в доме у него траур: бедная его кормилица Магдалина Кормье лишилась единственного сына, своей опоры в старости, – он был хороший портной. Слыша вокруг только рыдания и стоны, Лесюёр и сам рыдал и стонал, почти не в состоянии дать себе отчета, страдает от горя тех, кто рядом, или от своего собственного.

Не веря продолжительным любовным элегиям, Марильяк, часто посещавший нового друга, иногда насмехался над ним по этому поводу. Однако сначала не шутя старался развлечь его и утешить, а это доказывало, что в душе, преданной удовольствиям и пороку, жили еще чистые и благородные чувства. Однажды вечером прибежал он запыхавшись на улицу ла Гарп, и как только увидел художника, замахал платком в знак радости и торжества и закричал ему:

– Сюдориус⁹! Сюдориус! Победа! Я открыл планету, куда убежала твоя красавица! Захочешь – в десять минут окажешься перед ее дверью: у ног ее, в ее объятиях!

⁹ Так иногда называли Лесюёра близкие знакомые.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.